

[Polaris]

ПЬЕР
МАК ОРЛАН



ЖЕЛТЫЙ
СМЕХ

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

CCCLXXXIX



Salamandra P.V.V.

Пьер
МАК ОРЛАН

ЖЕЛТЫЙ СМЕХ

Фантастический роман

Salamandra P.V.V.

Мак Орлан П.

Желтый смех: Фантастический роман. Пер. с фр. А. Л. Вейнрауб под ред. В. Морица. Предисл. автора. — Б. м.: Salamandra P.V.V., 2021. — 117 с. — (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. CCCLXXXIX).

Пандемия, пришедшая из Китая, опустошает Старый и Новый свет. Среди полей и развалин деревень и городов, усеянных скелетами, немногие уцелевшие ведут жизнь Робинзонов. Мрачный и одновременно комический роман «Желтый смех» принято относить к «декадентскому» периоду творчества известнейшего французского писателя, поэта и критика П. Мак Орлана (1882-1970). Авторское предисловие было написано Мак Орланом специально для русского издания.

РОМАНЫ ПРИКЛЮЧЕНИЙ

Эта книга совсем не веселая, хотя в ней много говорится о смехе: больше того — это очень жуткая книга! С ее страниц веет ужасом последних дней европейской цивилизации, гибнущей от страшной эпидемии смеха. В этом своем новом романе Мак Орлан с захватывающим интересом рассказывает о том, как... Впрочем, зачем рассказывать содержание книги — читатель может подумать, что мы хотим ее рекламировать. Она в этом совсем не нуждается. Имя автора, одного из самых популярных писателей современной Франции, само говорит за себя.

Для тех из читателей, кого интересует личность самого Мак Орлана, к настоящей книге прилагается краткая, специально им для „Круга“ написанная, автобиография.

ПЬЕР МАК ОРЛАН

**ЖЕЛТЫЙ
СМЕХ**

КРУГ

ЖЕЛТЫЙ
СМЕХ

КАК Я СТАЛ ПИСАТЕЛЕМ

Я родился на севере Франции в 1883 г. Я думаю, что эта подробность несколько объясняет мою любовь к холодному, весело кружашемуся снегу. Сколько грустного и мистического погребено под снегом; разгребая его, мы можем найти живые цветы и трупы людей, еще не умерших для человечества.

Так во многих книгах под незамысловатым текстом кроются гораздо более обольстительные, чем сам текст, образы.

Я получил классическое образование в Орлеанском лицее. Мой опекун окончил университет, и те, которые заставляли меня склонять по-латыни — *rosa*, считали, что я больше люблю удовольствия (так называли они склонность к фантастике), чем работу.

К этому времени относится мое увлечение спортом. С семи и до двадцати семи лет я играл в футбол-регби. В семнадцать лет я мечтал участвовать в велосипедных гонках. Я носил трико яркого цвета, трусики и спортивные башмаки «Мак Грегор», которыми мог бы похвастаться любой спортсмен.

В шестнадцать лет меня повезли в Париж. Я перешел пределы дозволенных мне развлечений, свободно встречался с женщинами и надолго сохранил воспоминание об этом чудесно проведенном времени. С той минуты я решил порвать с семейными традициями, толкавшими меня по пути карьеры. В восемнадцать лет я уехал. Был беден. Не знал настоящей богемы, но зато хорошо познакомился с нищетой примазавшихся к ней бездельников. Многие из людей, которых я встречал в ту эпоху, погибли насильственной смертью еще до войны. Чтобы не умереть с голоду, я был и землекопом, и маляром, и живописцем, и корректором.

В погоне за куском хлеба, я долго жил в Голландии, в Бельгии, на берегу моря, в чудной Фландрии, и не упускал случая бывать в компании праздношатающихся матросов. Долго жил и в Италии, и в Сицилии, устремляясь по следам сиракузских галер.

В эту пору я написал несколько юмористических рассказов, занятие столь же отвратительное, как и другие, когда они вызываются необходимостью. Война, забросившая меня в один из пехотных полков, где я был ранен, вывела меня из этого плачевного состояния. Только с 1918 года я мог отдаваться целиком литературе. Может быть, я плохо писал, но я писал в том стиле, в каком хотел. В эту же эпоху я занялся журналистикой. В тревожные 1918 и 1919 годы, я жил в Германии и в Англии и снова посетил Италию, Италию Муссолини. Я закалился в этих скитаниях и отрешился от своих бредней. Я стараюсь просто подойти к современности. Еще в те времена, когда я переводил с латинского Катулла и Вергилия, много веков тому назад воспевших красоту лесов и нив, лесов и нив, которые остались теми же, — я понял, что мне нечего к этому прибавить. Я стремлюсь проникнуть в тайные силы, которые из тьмы и света вызвали к жизни этот фантастический и по-настоящему новый социализм. Для того, чтобы осуществить эту задачу, мало быть только писателем. Нужно самому стать проводником новых идей, так же точно, как латунная проволока служит хорошим проводником электричества. В детстве моими любимыми героями были Аполлинер, Сальмон, Макс Жакоб, Пикассо и др. Но знакомство с ними не вывело меня из тьмы. Я во тьме и теперь, но это уже не то. Призраки прошлого, мои испытания, радости и горести окружающих, все это позволяет мне посвятить мою жизнь занятию, которое кажется мне столь ветхим, что каждое влияние извне может обра-тить его в пыль.

Пьер Мак Орлан

Глава первая

СМЕРТЬ КАПИТАНА МАК ГРОГМИЧА

Моего отца звали Августин Мутонно, а мою мать — Аврора Мутонно. Прежде, до замужества, она носила более скромное имя — Аврора О'Виллёфби, совсем как героиня Мередит, с той только разницей, что в жилах моей матери не текло голубой крови, по крайней мере, я в это не верю: эта голубая кровь могла бы влиться лишь благодаря удачному браку, но, принимая во внимание родословную семьи с материнской стороны, подобное предположение могло бы привести лишь к весьма нежелательным разоблачениям нравственных качеств и профессий ее предков.

Происхождение моего отца, Августина Мутонно, было менее сложно. Он происходил из целой коллекции Мутонно, из которых наиболее знаменитый, Луи Мутонно, добился аттестата зрелости семидесяти лет, в то время, когда еще не существовало всеобщего обязательного обучения. Его считали человеком, проделавшим свои жизненный путь вполне самостоятельно. Мне ставили так часто его в пример в период моих злосчастных занятий, что я был близок к апоплексическому удару всякий раз, когда видел его портрет в нашем фамильном альбоме.

Что касается породившего меня, то должен сознаться, что это был человек на редкость заурядного вида. Он походил на всех, и это превращало его в какого-то мещанского Протея. Его встречали в самых невероятных местах в один и тот же час, в один и тот же день. Стоило его представить кому-нибудь, кто не был с ним еще знаком, как тот непременно восклицал, обращаясь к любому из присутствующих: «Не находите ли вы, что он очень похож на Поля Муля?» Мой отец в равной мере походил и на Жюля Нобльдоза, на Пьера Корнжифля, на Андре и т. д. и т. д. Он очень этим гордился, не теряя, однако, меры и не надоедая нам этим.

Интимно моя мать называла своего супруга — Бэнбэн.

Профессия моего отца была несколько неясна, но, по некоторым признакам, имела отношение к полиции. Он исполнял обязанности инспектора Тайных Мыслей и имел довольно регулярный заработок. Этот человек, уже будучи тогда, в начале этой истории, в возрасте пятидесяти семи лет, очень быстро осваивался с наиболее современными идеями.

Обладая, вероятно, некоторым даром воображения, он расточал его без счета в своих бесконечных ежемесячных докладах министру.

Наиболее замечательный из этих докладов — едва не стоивший ему места — был тот, в котором он внес предложение одеть весь дипломатический корпус, высшее духовенство, магистратуру и женщин высшего общества в костюмы цвета резеды, ввиду того, что такая ткань не бросается в глаза. Торговцы «резедового» сукна с выражением благодарности прислали ему семь или восемь кусков этой материи, но «патрон», очевидно, имея свое мнение о подчиненном, изрядно намылил ему голову перед гипсовой статуей Республики.

В результате этой авантюры, меня облачали в «резедовые» одежды почти вплоть до моего совершеннолетия.

Наполовину дипломатическая миссия моего отца обязывала его владеть несколькими языками. Он знал их с девяносто, и прежде всего их жаргоны.

Но это знание не приносило ему большой пользы, ибо ему стоило немалых трудов закончить какую-нибудь фразу, высказать свою мысль, установить дату, разместить хитрые прилагательные, вспомнить собственные имена. Он изъяснялся по-английски, по-немецки, по-фламандски, по-итальянски, по-испански примерно так: «Я встретил, ах! Да ну же, как его, ты знаешь, ах!.. Мой Бог! Как его... так вот... он мне сказал... что... уф!.. он пойдет в... черт возьми!.. Я забыл имя... а... а... ах!..» и т. д. и т. д.

Я был единственным сыном подобного отца; он поместил меня в лицей, вероятно, рассчитывая на меня в будущем на предмет заканчивания своих фраз. Там я вел себя скверно, без всякого усилия убеждаясь ежедневно в своей чудовищной неспособности, особенно по мере приближе-

ния к диплому, который должен был сделать из меня существо, способное затмить, в глазах моей матери, славу этой старой сосиски — Цезаря Мутонно, моего деда.

Отец не очень-то восхвалял мою нерадивость. Список моих отметок за каждую четверть повергал его в состояние замечательного, с научной точки зрения, ожесточения. Он размахивал перед моим носом тетрадкой и кричал:

— Я прочел это! Несчастный! Ты заслуживаешь... как его... это, черт возьми... посмотрим...

И он перелистывал балльник.

— А! Ноль... но... но... черт побери!.. мой Бог!..

— По математике, — говорил я.

— Математике! — рычал он.

Инцидент был исчерпан. Одно это подсказанное слово «математике» убеждало его в том, что, в общем, я могу быть ему полезен. Моя мать прерывала нас, принося суп:

— Идем, Бэнбэн, ты начинаешь волноваться!

Так протекали наиболее прекрасные годы моего детства. Дома — никакого веселья, споры, неоконченные фразы, педагогическая ложь.

Но все это не имело значения. Мой детский ум формировался сам по себе. Для меня было вопросом чести никогда не переходить границы приличной меланхолии, когда я выслушивал, с безразличием крутого яйца, сетования матери и неоконченные ворчания виновника моих дней.

Моя мать, без сомнения, не обладала той благородной грацией и кокетливостью, которые — нечто вроде букета цветов в банальной и опрятной столовой. Она старалась всячески подражать отцу в его слабых сторонах, — единственное, чего она могла достичь. Но, в конце концов, моя мать была несчастной женщиной, и, кроме того, ее девичья фамилия была английского происхождения. Благодаря этой подробности, она вносила в наше жилище немного чужеземности, и это иностранное происхождение ее отдало меня, связанного по рукам и по ногам, во власть опасных волнений космополитической поэзии. Я был одинок в моем восторге перед иностранным происхождением моей матери. Ибо отец презирал иностранцев. Это была единственная

мысль, которую он мог выразить, не хватаясь за голову, не почесывая за ухом. Он справлялся с ней не так уж плохо...

— Одни иностранцы, — говорил он — не только во Франция, но везде. Берлин полон ими; они в... как это, черт возьми! В Лондоне, в... в...

— В Москве, — говорил я робко.

— Да, в Москве... всюду полно иностранцев, я уверен, что и Китай кишит ими, щут их возьми!

Простите вы мли не простите это слишком длинное вступление? Необходимо было взглянуть на мою семью, на мой дом, на полнейшее отсутствие радостей, на все, что окружало мое детство, чтобы понять, как я мог пройти через невероятную катастрофу, которая должна была сокрушить мир вдоль и поперек.

Когда мне было около четырнадцати лет, отец получил от директора лицея бумагу, в которой сообщалось, что у них нет такого элементарного класса, который был бы для меня подходящим. Самое лучшее — это поместить меня в детский сад, если только мой возраст не послужит к этому препятствием.

Мой возраст не позволил этого. Было признано нерациональным посыпать меня, рослого, широкоплечего малого, в школу, которую ведет молоденькая девушка, только что кончившая курс. Таким образом господин Мутонно приостановил мое обучение, взяв меня к себе в секретари. То был самый мрачный, тошнотворный период моей жизни. Время безразличной, спокойной, но неумолимой тоски. Я привык к ней и кое-как переносил этот род существования, который заставил бы умереть от ярости наиболее кроткого из моих прежних товарищей.

Однажды летом, когда жара и духота, висевшие над Парижем, вызывали желание разбить небо ударами зонтика или раскрыть себе грудь на две створки, словно шкаф, в этот день каникул, когда я созерцал, как мухи точат одну о другую лапки на краю моей чернильницы, привратница принесла отцу письмо со штемпелем Марселя.

Он разорвал конверт и прочел вслух:

Мой дорогой Августин!

Я возвращаюсь из Китая. Мое судно чинится в Марселе. Оно останется здесь, вероятно, месяца два. Я уведомил судоходщина об аварии. Я расскажу вам об этом; но с сегодняшнего дня я благодарю проeидение, дающее мне удовольствие провести несколько дней в Париже, с вами. Я счастлив, что могу обнять Аврору. Я не видел ее уже двадцать лет. Она, должно быть, выросла. В противном случае я буду удивлен и потеряю уважение к себе.

*Ваш старый дядя
А. А. Мак Грогмич.*

— Это от капитана, — сказал отец.

Затем он позвал мать:

— Аврора! Аврора!

— Что случилось, Бэнбэн?

— Это от капитана, э, э... от... дяди, дяди... Мак... Мак... как его... тысяча чертей!.. Мак... ну... да вот письмо.

Он протянул бумагу.

— Он вполне достойный человек, — сказала мать, прочтя письмо. Затем, повернувшись ко мне:

— Твой дядя, Мак Грогмич, приезжает к нам. Брат моей матери — она была мадемуазель Мак Грогмич до своего замужества с Томом Виллёфби. Твой дядя очень серьезный человек. Очень серьезный. Твой отец и я — мы не знаем более серьезного человека во всем мире. И я счастлива за тебя, что ты будешь иметь возможность видеть в течение восьми дней, что называется, серьезного человека... Поистине — это счастье для тебя!

Я ничего не ответил, но одна мысль, что в нашем угрюмом жилище прибавится еще одно лицо, более серьезное, чем все, каких я знал до сих пор, наводила меня на размышления о самоубийстве. Я решил утопиться и всячески старался погрузить голову в кувшин. Мне не удалось достичь желанного результата, ибо отверстие кувшина оказалось

слишком мало и не пропускало моей головы. Впрочем, воды в кувшине не было.

* * *

Входная дверь нашей квартиры находилась в конце не скончаемого и темного коридора. В приемные дни моя мать заставляла меня сторожить у этой двери, поджиная гостей. Таким образом я мог помешать им звонить в соседнюю квартиру, занимаемую девицей легкого поведения, которая старалась завлечь к себе каждого, кто приходил к нам.

В этот день — было воскресенье, и я никогда не забуду этого — моя мать, облачив меня в мой лучший резедовый туалет, поставила меня на стражу у входной двери. Я стоял, приложив ухо к замочной скважине, в которую предательски дул резкий, холодный ветер.

— Когда ты услышишь в коридоре шаги, ты отворишь дверь и бросишься навстречу капитану, крича: «Здравствуйте, дядюшка!»

Поистине, это была ответственная и трудная задача для молодого человека моего возраста, в чем я вскоре убедился. Малорадостные мысли осаждали мой мозг.

Все они сводились к одному: помешать соседке в розовом пеньюаре завладеть капитаном.

Несколько раз поднималась ложная тревога. Мне слышалось легкое поскребывание руки, ощупывающей стену в надежде обнаружить в этой жуткой темноте дверь, уютное жилище, клочок голубого неба.

Но, когда я отворял дверь, мои глаза, привыкшие шагать во мраке этого коридора, не находили никого.

Я снова затворял дверь, испытывая легкое нервное возбуждение, берущее верх над хладнокровием, которое я должен был бы сохранять в этом положении, более щекотливом, чем оно казалось.

Неуверенные шаги, рука, скользящая по грязной стене, снова заставили меня вздрогнуть. Не колеблясь, я открыл

дверь и устремился на человека с криком: «Здравствуйте, дядюшка!»

Мне показалось, что незнакомец удивлен. Он слегка поклонился, а из приотворившейся соседней двери высунулась тщательно причесанная женская головка.

— Он спятил, этот мальчишка, — сказала соседка.

— Надо полагать, — ответил человек.

Моя мать — она была в клетчатом наряде — услышав мое восклицание, с умильным видом подбежала к дверям.

— Вы могли бы, сударыня, — наскачила соседка, — не отбивать у меня посетителей?

— Сударыня!

— Да, сударыня! Ваш молодой человек бросается к моим друзьям, называя их «дядя». Я не желаю этого, вы слышите, не желаю; между нами нет ничего общего, мы ведь вместе свиней не пасли, не так ли?

Пока происходил этот разговор, человек, которого я назвал дядей, вошел к девице. В полосе света я увидел, что он был толст и тщательно одет, но это было мне безразлично.

— Ступай назад, — сказала мать.

Пощечина была благодарностью за ложную тревогу, и, как раз в тот самый момент, когда я собирался зареветь отчаянным образом, звонок убил мое намерение в самом зародыше.

Мать отворила дверь. Это был дядюшка, собственной персоной.

— Целый час я ищу ощупью в этом проклятом коридоре! — сказал он. — Меня нисколько не удивляет, что ты и твой муж выбрали такую дыру. Здесь можно оставаться без шляпы в самую жару, не рискуя получить солнечный удар. Здравствуй, Аврора. Где Августин?

— Войдите, дорогой дядюшка. Августин пошел в погреб за вином; а вот мой сын — Николай,

— Краснощекий, — сказал дядюшка, — его физиономия так и пышет, я не буду целовать его, чего доброго, обожжешься.

Я скромно улыбнулся, разглядывая дядю-капитана.

Этот старый моряк, казалось, сошел с наградной книги, в красном с золотом переплете. Это был старый, классический моряк с лицом кирпичного цвета, с живыми, суровыми глазами. Широкая борода обрамляла его лицо, скорее веселое, придавая ему довольно привлекательный вид бульдога в ошейнике, украшенном конским волосом.

Он был одет с ног до головы в синее, на голове — морская фуражка, несколько сдвинутая назад.

Манишка его белой рубашки была так туго накрахмалена, что издавала шум сгибающегося листового железа каждый раз, когда дядюшка наклонял голову. Черный галстук шириной в полсантиметра был повязан вокруг ворота рубашки, достаточно широкого, чтобы дядюшка мог погрузиться в него до носа, когда ему случалось пожимать плечами.

Когда отец вернулся, держа в одной руке подсвечник, в другой — корзину с бутылками, дядюшка издал нечто вроде завывания, и отец бросился к нему, вытирая руки о фартук матери.

Излияния возобновились, и была раскупорена бутылка портвейна; каждый занял место у стола, в то время как служанка завладела чемоданом капитана, чтобы отнести его в подготовленную для гостя комнату — комнату швейной машины.

— Итак, дорогой дядюшка, вы совершили хорошее путешествие?

— Недурное, клянусь Богом — буря около Борнео, буря у Мальты, и все это на скверном, лишенном всякой совести суденышке, которое я должен был доставить невредимым в Марсель.

— Ах, дядюшка! — сказал отец. — Я никогда не устану... от... от... ах!.. черт возьми... от... Вы понимаете!

— Благодарю вас, племянник, — сказал капитан Мак Грэмич. — Однако, что вы думаете делать с этим молодчиком?

Он повернулся ко мне.

— Мы его поместили в лицей, чтобы дать ему хорошее образование, — ответила мать, — а затем отец предполагает оставить его при себе в качестве секретаря.

— Позвольте мне вам заметить, Аврора, что вы женщина до конца ногтей. Но, поверьте опыту старого моряка, — этот ребенок нуждается в свежем воздухе. Слава богу, я видывал детей! Черных, белых, красных и желтых! Я видел таких, которых можно было считать исключительными проказниками, и таких, черт возьми, которых можно было считать наделенными редкостной глупостью, той, что я называю вызывающей глупостью, но никогда, слышите ли, Аврора, никогда, — и пусть я снова стану матросом, если я лгу, — никогда в моей жизни я не видел ребенка, столь откровенно обнаруживающего свое тупоумие, как мой племянник Николай.

Я покраснел из вежливости, а мать, несколько смущенная, возразила:

— Вы всегда шутите, дорогой дядюшка. Не думайте, Николай не огорчает меня, он не так глуп, как кажется.

Здесь я должен предупредить моих читателей, что этот разговор начинал необычайно возбуждать меня.

Отчаянные мысли теснились в моем маленьком мозгу. Чтобы отомстить, я решил не есть сладкое. Мое достоинство было спасено этим решением и я продолжал слушать разговор, как постороннее лицо, словно этот вопрос меня никак не касался.

— Дайте его мне,— говорил капитан Мак Грэмич, — дайте его мне, я сделаю из него юнгу.

Разговаривая, мать убрала рюмки для портвейна, и служанка начала подавать обед.

Капитан повязал салфетку вокруг шеи, готовясь отдать должное первому блюду.

Что касается меня, то я с беспокойством рассматривал ростбиф, который принесла служанка, и это беспокойство возобновлялось каждый раз, когда на столе появлялось мясное блюдо. Моей целью было определить с первого взгляда, сколько в нем жира. На этот раз я успокоился, мясо было постное, что, однако, не помешало отцу обнаружить жалкий кусочек жира, трусливо укрывшийся под мясом. Он разделил его на четыре части и одну дал мне. Это была церемония, которой он никогда не пропускал. Он вбил себе в

голову, что хорошо воспитанный ребенок должен есть жир, и я получал свою часть за каждой трапезой. А я ненавидел жир. Но господин Мутонно, мои отец, отыскал бы жир и в копченой селедке! Со дня моего рождения, или немногим позже, я рассматривал появление жира на моей тарелке, как одно из тех бедствий, перед которыми бессилен гений человека. Я проглатывал мой кусок не жуя, в результате чего мой цвет лица становился пурпурно-лиловым, в то время как глаза, казалось, стремились выскочить из орбит.

Только за кофеем дядюшка Мак Грогмич представился глазам семьи в своем истинном виде.

Ликер оказался его излюбленным напитком. Он выпил изрядное количество рюмок, озабоченно проводя рукой по животу.

Два или три раза он отваживался на пламенное восхваждение цветных женщин. Я никогда не слышал, чтобы так говорили о женщинах, и то, что рассказывал дядюшка, не пропало даром. Но чем больше я старался вникнуть в рассказы дядюшки, тем больше вытягивались лица моих родителей. Отец царапал тарелку фруктовым ножом; мать же прервала рассказчика, который, открыв рот, подобно кружке для сбора в пользу бедных, собирался опрокинуть в него седьмую или восьмую рюмку спиртного.

— А ваши путешествия, дядюшка, вы ничего не говорите о ваших путешествиях! Что, квартиры там дороги?

— Ай да Аврора! Все такая же! Я вспоминаю одного китайца, которого мы взяли на судно в Шанхае. Настоящий свиной хвост! Он слышал разговор о канализации там, в одном из портовых притонов. Я не знаю, какое значение придавало этому его поэтическое воображение. Вероятно, он представлял себе нечто вроде огромного водопада из нечистот! Ха-ха-ха! Ниагара из грязной воды, дохлых крыс и всякого рода отбросов! Хи-хи-хи! Он не переставал расспрашивать нас о подробностях! Ха-ха-ха!

Тут дядюшкой овладел такой приступ смеха, что его живот начал конвульсивно подпрыгивать, а из его маленьких серых глаз текли обильные слезы. Впервые в жизни я видел подобный смех. Мне безумно захотелось последовать

его примеру, но ввиду серьезного уклада нашей жизни меня не научили смеяться. При всякой попытке этого рода — зеркало отражало лишь жалкую физиономию подростка, пытающегося расширить рот в натянутую, ничего не выражавшую гримасу.

Дядюшка немного отошел от смеха и продолжал рассказ, вытирая салфеткой отвороты своего синего морского пиджака. Его глазки сверкали, а складки лица, если можно так выразиться, не пришли еще в норму, ибо приступ ликования, которому он отдался без всякого приличия, по-рядком обеспокоил тысячу и одну морщинку, избороздившие его кожу.

— Итак, я говорил, карапуз, — сказал он, обращаясь, главным образом, ко мне, — да, что же я говорил?.. Да... мы взяли к себе на судно этого китайца. Он хотел увидеть канализацию! Ха-ха-ха! Господина Туталегу, капитана Туталегу!* Его решили использовать, как сторожа при каютах. Чтобы увеличить себе цену, он подбрасывал уголь в топку, ха-ха! а товарищи наставляли его на путь истинный. Среди них был один, по имени Жеф, из Антверпена; он взял на себя воспитание китайца. О, Господи! Хи-хи-хи!

Здесь дядюшка снова был вынужден прервать повествование. Приступ кашля едва не вытолкнул его глаза на тарелку с десертом. Мать предложила ему стакан воды, который он обессиленно отстранил, плача от радости. После нескольких нервных подергиваний его рот принял свое естественное положение, и капитан Мак Грограмм продолжал:

— Да, этот Жеф был веселый малый. Я знал его раньше, в Антверпене, там он, это было в маленьком баре Ри-Дика, — маленьком баре или маленькой дыре, как вам угодно, — Жеф пил джин, совсем как джентльмен, и, когда наполнился до краев, полез в драку с негром, которого никто не знал. Жеф пустил в него ножом, а негр проглотил нож, вот так, хоп! как глотают устрицу. Это был шпагоглотатель.

* Tout-à-l'égout — канализация. По-русски звучит — Туталегу (Здесь и далее прим. перев.).

Жеф заплатил за удовольствие и я взял его к себе на судно, он был суровый моряк, настоящий. Вот ему-то, карапуз, и было поручено беседовать с китайцем. Он некоторым образом заранее осуществлял мечту китайца. Можно было помереть со смеху... Хи-хи-хи! «Да, старина, — говорил Жеф, — ты увидишь этого самого Туталегу». — «Он женат?» — спрашивал китаец. — «Женат ли он?!» И все машинисты и кочегары подталкивали друг друга локтем, держась за живот, не будучи в состоянии произнести ни слова, карапуз, ни... сло...ва...

Тут на дядюшку жалко было смотреть. Его лицо внезапно вспыхнуло, как печка, вдруг приведенная в восторг хорошей тягой, его шея приняла лиловый цвет баклажана, он поднес руки к воротнику...

— Успокойтесь, дядюшка, — сказала мать.

— Ха-ха! Этот Жеф... этот Жеф!..

Смех старого моряка достиг предела. Его рот, растянутый до ушей, издавал нечто вроде свиста, исходящего, казалось, прямо из горла, и столь длительного, что дыхание капитана пресеклось.

— Побей его по спине, побей его по спине! — крикнул отец.

— Я смочу ему лицо водой, — ответила мать.

— Хи-хи! — продолжал дядюшка; его глаза были полны слез, и затем припадок возобновился.

Отец так колотил капитана по спине, словно хотел вбить в нее гвоздь, чтобы повесить картину.

Тогда произошло нечто ужасное. С последним взрывом хохота дядюшка открыл рот; язык высунулся, зрачки расширились; из ноздрей медленно потекла струйка крови, он свалился, и, таща за собой скатерть и кофейный сервиз, грохнулся на пол, так как стул опрокинулся под ним.

— Он, наверное, ушибся, — простонала мать.

Да, дядюшка ушибся. Растигнувшись на спине, он, казалось, занимал своим огромным телом всю комнату. Его сведенное судорогой застывшее лицо сохраняло еще выражение столь искреннего ликования, что мы все трое не могли сдержать улыбки.

— Дядюшка! дядюшка!

Наши голоса остались без ответа.

— Что с ним, Боже мой! Боже мой! что с ним? — захныкали мы.

Отец шумно высыпался и объявил:

— Надо пойти за доктором.

Меня послали к доктору Фронсу, жившему, по счастью, рядом.

Доктор явился в пижаме, внимательно осмотрел дядюшку, распостертое теперь на приготовленной для него постели.

Затем, вытягивая нижнюю губу, он посмотрел на моих родителей.

— Готово, — сказал он просто.

— Что? — спросил отец.

— Умер.

— Он умер! Но, черт возьми... всего две... две... две.

— Две минуты, папа.

— Две минуты тому назад, он смеялся, как... как...

Он не находил подходящего сравнения.

Доктор настаивал:

— Да, он умер... полнокровие, без сомнения!

Доктор удалился.

Мы остались одни перед трупом, ликующее лицо которого, к несчастью, имело такой вид, будто в последний раз потешалось над нами. Моя мать, обычно такая спокойная, разразилась невероятным гневом, мишенью для которого оказался я.

— Ты видишь, ты видишь, — говорила вся, она дрожа от негодования, — ты видишь, к чему приводят легкомыслие, беспечность и проказы: начинают с улыбки, от нее один шаг до насмешек, и кончают тем, что издеваются над всем. Сударь смеется, сударь считает себя очень лукавым, сударь известный хохотун, сударь остряк, — а кончается тем, что сударь столько и так сильно смеется, что в один прекрасный день помирает... отличный пример!

Такова была речь моей матери — надгробное слово капитану Мак Громичу. «Сударь» применялся к моей особе

в силу некоторой, часто встречающейся особенности родителей считать своих детей ответственными за все ошибки, свидетелями которых они были. Довольно часто мне приписывали проступки, которых я не совершил, но которые мог бы совершить.

Так бывает. В один и тот же день я увидел впервые и потерял, вероятно, навсегда моего дядюшку Мак Грограмма. Я не могу сказать, был ли этот дядюшка хорошим человеком, я даже не в состоянии составить себе приблизительное мнение о необычайной истории про китайца, без сомнения явившейся причиной его внезапной смерти, истории живой и веселой, конца которой я так никогда и не услыхал.

Похороны капитана собрали всю родню, родню, о существовании которой я даже и не подозревал: двоюродные братья, племянницы, тетки, племянники. Среди моих племянников находился настоящий бульдог, которого мне так и представили. Я встретил также и Алису Коссонье, мою молоденку кузину, вид которой заставил меня с горечью убедиться в малом изяществе моего костюма, купленного в магазине готового платья.

Глава вторая

ОТ МЮРЖЕ К Р. КИПЛИНГУ

Семнадцатилетняя Алиса Коссонье была дочерью Амбруаза Коссонье, помощника начальника отдела в универсальном магазине. Мы были отдаленными родственниками, и, однако, мне незачем было наводить справки в Готском альманахе, чтобы установить приблизительно степень нашего родства.

Алиса была красивая, тоненькая, стройная блондинка, свежая и аппетитная, как девочка. Она совершенно свободно высказывала свои суждения, с непринужденностью продавщиц, умеющих убедить вас в чем угодно.

Когда она уверенно выражала свое мнение, спорящий с ней терялся, а у плутовки был такой вид, точно она говорила вам, кроме того: «Еще что прикажете, сударь?» Обычно «сударь» умолкал, чувствуя свою слабость и смутно сознавая, что он смешон.

Что касается меня, то остроумные возражения кузины лишали меня покоя на несколько дней; они даже снились мне, и я считал себя полнейшим идиотом, совершенным кретином. В конце концов, дней через семь или восемь, я придумывал надлежащий ответ, но было уже слишком поздно.

Итак, мне представили Алису в день похорон дядюшки. Она была со мной очень любезна, и этим потрясла мою юную душу. В тот же вечер я уже воображал себе нашу супружескую жизнь, и это вызывало у меня слезы нежности. Я венчался с Алисой в роскошной церкви, рота солдат с музыкой и знаменем оказывала нам почести. Почему именно так — я этого не знал. Я всегда подозревал, что эта подробность возникла в моих мечтаниях лишь как чисто декоративный элемент. Затем я видел себя с женой в маленькой, светлой квартире, которую мы решили сделать приютом нашей любви. Упоительная картина! Она, в голубом пеньюа-

ре, за швейной машиной, а я, руки в карманах, насвисты-
вая, смотрю в открытое окно на соседа, тоже насвистываю-
щего, тоже руки в карманах, смотрящего, в свою очередь, на
меня в открытое окно.

Химеры! Таковы были химеры в ту пору, незадолго до
невероятного, стихийного бедствия, которого я смог избежать
лишь чудом и которое уничтожило три четверти человече-
ства.

В ближайшее воскресенье после похорон дядюшки мать
вынула из шкафа мой новый костюм и разгладила отцов-
ский пиджак из альпага.

— Мы идем завтракать к Коссоньерам. Веди себя хоро-
шо.

Я готов был прыгать от радости; затем эта радость про-
пала сама собою в силу отсутствия привычки поддержи-
вать в себе подобное состояние и потому еще, что брошен-
ный в зеркало взгляд не нашел меня настолько привлека-
тельный, как это требовалось.

Не подумайте, что я был худ. В большинстве подобных
книг принято изображать смешного влюбленного тощим и
дрожащим от холода. Я не был тощ; я много бы дал, чтобы
быть худым! Худые — изящны; брюки сидят на них восхити-
тельно, и ноги их кажутся прямыми и грациозными. Худой,
даже в костюме, купленном в магазине готового платья, в
башмаках на пуговицах, — и то привлекателен. А я был
толст — толстый молодой человек с довольно короткими нога-
ми. Вся моя красота заключалась в моих щеках, в настоя-
щих ангельских щеках, совершенно переместившихся, впро-
чем, на плечи. Равным образом я не дрожал от холода, на-
против, мне всегда было слишком жарко, следствием чего
был мой блестящий, как новая монета, нос.

Если я набросал так подробно мой внешний облик, то
вовсе не с целью наскучить читателю, а просто, чтобы объяс-
нить, что мои слегка короткие брюки заботливо обознача-
ли местонахождение моих колен и что мой пиджак отнюдь
не разевался.

Последняя подробность доводила до предела мое отвра-
щение к самому себе. Я отдал бы все, чтобы быть в широ-

ком пиджаке с двумя разрезами на спине, как было тогда модно. Ежедневно я встречал множество молодых людей, так одетых, и, когда я сравнивал их шик с моей элегантностью и с моим простым видом, я приходил к заключению, что о женитьбе на Алисе мне нечего и мечтать.

Эти мысли преследовали меня во время всего путешествия на площадке автобуса, везшего нас к Монмартру, где жили Коссоньеры.

Мы сошли на площади Пигаль и стали взбираться по улице забавно неаполитанского характера, насколько я мог судить, использовав воспоминание о нескольких дюжинах открыток с видами Италии.

На террасах кафе и баров сидели в небрежных позах молодые франты, некоторые из них — с седеющими висками, с шапками зачесанных назад и коротко подстриженных на затылке волос: это были, как я узнал позже, существа, созданные премудростью Господа Бога исключительно для удовольствия девиц легкого поведения.

Мы прибыли к Коссоньерам.

— Ax! Вот и вы! Как далеко! Раздевайтесь же, моя дорогая. Николай, давай твою шляпу... — и т. д.

Меня втолкнули в столовую; Алиса приветливо протянула мне руку.

— Ну, Николай, — сказала она мне, — как твои любовные дела?

И, так как я молчал, она поторопилась прибавить:

— У тебя такой вид!

Что можно было ответить на это? Сели за стол. В течение всего завтрака фраза моей кузины не давала мне покоя. «У тебя такой вид!» и затем: «Как любовные дела?» Откуда, черт возьми, она взяла это?

Завтрак был обыкновенный. После нескольких не имеющих значения замечаний по адресу старого Мак Грограмича разговор, как бы случайно, перешел на мою скромную особу.

— Он работает? — весело спросил г. Коссоньер.

— Он помогает мне, — ответил отец.

— А! Это хорошее ремесло! — объявил Коссоньер.

— Конечно, если б он овладел им.

— Не отчайтайтесь, он станет с годами серьезнее.

За десертом Алиса встала, взяла свою шляпу, поцеловала отца и мать, пожала руку мне, а также моим родителям и заявила нам, что она идет в кинематограф.

Она ушла, и внезапно мне показалось, что в комнату проник дождливый день. Общий разговор становился мне все более и более чуждым. Я не переставал повторять себе: «Да, брат, да, ты можешь сказать, что произвел на нее впечатление, она обратила на тебя внимание, она, наверное, увидит тебя во сне сегодня. Твое присутствие обратило ее в бегство» и т. д.

В течение следующей недели мое чувство обрело новые силы. Два года я блуждал в жизни, как пробка по волнившемуся морю, встречая то здесь, то там моего белокурого идола. С каждым разом я чувствовал себя с ней все свободнее, но все же не осмеливался признаться ей в любви. Я ждал, чтобы она сама пришла сорвать меня с дерева, подобно прекрасным девушкам в платьях времен Директории, собирающим груши, как это изображено на календарях, которые дарят к Новому Году покупателям в универсальных магазинах.

Однажды я имел счастье встретить Алису на улице Тэтбу. Она выходила из своего магазина, увидела меня первой и без церемоний похлопала меня по плечу.

— Как живешь, Николай?

— Понемногу.

— Как отец и мать?

— Хорошо, спасибо.

— Ты в какую сторону идешь?

Нам было по дороге. Мы шли рядом. Ее болтовня восторгала меня. Она пустилась на откровенности: «У меня есть возлюбленный, мой милый».

Говоря это, Алиса лукаво покосилась на меня.

— Да?! — ответил я. Сам же подумал:

«Черт возьми, я это отлично знаю».

Затем двусмысленный взгляд молодой девушки какое-то предчувствие заставили меня спросить:

— Он высокий?

Она несколько колебалась.

— Пожалуй... нет.

— Толстый?

— Бог мой, он чувствует себя достаточно хорошо! — и, смеясь, прибавила: — Почему ты меня об этом спрашиваешь?

— Потому что... а я его знаю?

— Вот как?! — она принимала все более и более лукавый вид... — Возможно.

Тогда, толкаемый я не знаю какой идиотской силой, я крикнул что было мочи, как настоящий дурак:

— Это я!

Алиса посмотрела на меня с веселым удивлением, затем, перестав удивляться, сказала уверенно:

— Нет, мой милый, это Антуан Портзебр, молодой человек, которого ты видел у нас в прошлом месяце. Мы жених и невеста, и я в июне выхожу за него замуж.

Как раз в это мгновение велосипедист сшиб меня с тротуара. Он имел со мной длинное объяснение, во время которого Алиса дошла до своего дома, мало заботясь о тех эпитетах и определениях, которыми мы наделяли друг друга с энтузиазмом молодости.

* * *

Если я рассказал с некоторым избытком подробности своих чувств к кузине, то это отнюдь не из сомнительного удовольствия причислить себя к Дон-Жуанам. Нет, я далек от подобной мысли. Я вполне искренне и добросовестно изложил все фазы моего первого любовного волнения, не стараясь украсить себя павлиньими перьями. Я старался быть искренним во всем, ибо эта жалкая история и ценна только добросовестной точностью своих подробностей. И так же точно следует изложить и то, при каких обстоятельствах, через месяц после свадьбы Алисы, я поступил добровольцем в Иностранный легион.

Конечно, я мог бы сказать, что я отправился в легион в качестве бывшего императора, или бывшего короля, которому опротивели дела, или же в качестве разоренного миллиардера; нет, если я и отправился в Иностранный полк, то лишь по самым простым, уже высказанным причинам: несчастная любовь!

Но стоит ли в этом признаваться?

Знаменитый английский писатель Редиард Киплинг тоже оказал немалое влияние на мое решение.

Уже заранее я жил жизнью, полной красочности, под бананами, пальмами или бамбуками. Бель-Аббес, Тюен-Канг — без этих мест жизнь казалась мне пресной. Все штатские в моих глазах походили на моего отца, на мою мать, на Алису, ставшую госпожой Портзебр.

Мюрже, как я узнал из книг, оказал влияние на поколение, предшествующее моему: богема, вино, любовь, Мими, галстуки Лавалльер и процесии в Латинском квартале.

Для нас же, молодых людей 19.., Киплинг был сержантом-вербовщиком, который отправлял нас к экваториальным чудесам в белой колониальной каске или кепи легионера.

Заранее напичканный воспоминаниями, заранее представляя себе пленительное возвращение в отпуск, с синим поясом на мундире, я отправился однажды в среду на улицу Св. Доминика, в призывной пункт.

Чиновник учреждения с напомаженными волосами, с самопищущим пером в петлице куртки, принял меня с любезной сердечностью.

— Что вам угодно?

— Поступить в легион.

— У вас имеются документы?

— Да.

— Пройдите сюда.

Он ввел меня в маленькую комнату, мебель которой состояла из печки и ее трубы.

Там ожидали несколько молодцов: три немца, совсем юных, в маленьких каскетках; солдат колониальных войск в форме; двое молодых людей в бархатных широких шта-

нах и в голубых куртках. Мое появление не произвело ни малейшего впечатления. Солдат разговаривал с двумя рабочими.

— Я иду снова, потому что пять да десять, это будет пятнадцать; я уже пробыл десять лет; а с этими пятью и будет полностью.

— Хорошо кормят? — спросил я.

— Да это зависит, как... где... не всегда.

В приотворившуюся дверь просунулась голова капрала. «Желающие вступить в легион, сюда!»

Мы последовали за ним, прошли коридор и очутились в кабинете майора.

Майор был в штатском. Это был старый, добродушный человек. Первым прошел солдат колониальных войск. «Годен к службе!»

— Вы подождете вашу путевку.

— Так что, господин майор, у меня нет ни...

— А! Да! Вас зачислят куда-нибудь на продовольствие. Очередь была за немцами.

Двое из них были приняты, у третьего не оказалось бумаг.

— Вы можете их доставить?

Последовал спор с писцом.

Настал мой черед.

— Зубы плохие, пишите, плохие зубы, верхний коренной слева; немного молод... хорошо.

Восемь дней спустя я был в Марселе, в форте Сен-Жан.

* * *

Я не буду останавливаться на посвящении меня в тайны военного искусства, а что касается описаний Бель-Аббеса, то две дюжины тщательно выбранных открыточек дадут о нем более точное представление, нежели это смог бы сделать я. Я давно не видел Бель-Аббеса, но, по моему мнению, мечеть продолжает стоять на своем месте.

Впоследствии я пережил немало волнующих часов, но я навсегда останусь под тем впечатлением, которое произвело на меня призывное бюро. То была широко растворенная дверь к чудесам Ислама, ключ от тысячи и одной ночи. Тогда я не знал, что простой обход в карауле мне навсегда внушит отвращение к прекрасной природе, к литературным очарованиям финиковых пальм и к мрачному, как семейная жизнь, угрюмому Бледу с его трупоедами, с его голодными шакалами и тошнотворными гиенами.

Я быстро пробегу эти пять лет, которые могут быть сведены к следующему: шесть месяцев стоянки в Бель-Аббесе, со школой отделения и роты, с негритянским кварталом, Сенегальской лицей, кускусом*, испанцами, евреями, ба-ром легиона и служанкой Лизбет, родом из Люксембурга.

Затем, в полном снаряжении, с трубами, барабанами, горнистами, вся наша восхитительная компания отправилась в Уджду, чтобы наметить путь для прохода «семидесяти пяти».

Скучающие, никогда не выходя из бараков, где мы готовили себе кофе, опустошая при каждой получке лавочку маркитанта, мы ждали дней сражения с нетерпением ученика, ждущего каникул.

В тот день было настоящее веселье в рядах «больших мундиров». Мы всегда шли бок о бок с «Черными ногами». Обычно их заставляли начинить пляску. Вы знаете, как это заведено. Раздавались свистки, играли горнисты, щелкали лебели. На красной и лиловой почве гор, позади низкорослых смоковниц, отвечали маузеры. Тогда приходила наша очередь и, когда легион развертывался по камням и тощим кучкам альфы**, казалось, что старик Гомер настраивает свою лиру, чтобы воспеть красные кепи.

Я выпутался только благодаря своей молодости. Старики скоро умирают в легионе, потому что все они хотят нацепить военную медаль, которая даст им лишних сто фран-

* Кускус — манная крупа, которую арабы едят или в чистом виде или с баранным и куриным мясом.

** Альфа — злаковое растение в Алжире.

ков. Что касается меня, я исполнял свой долг честного солдата, как другие. Традиция иноземных полков сохраняла дисциплину.

Существует песенка, которая дорога африканской армии и которую «весельчаки» присвоили себе:

Проходя по большой дороге,
Вспомни,
Что твои предшественники проходили по ней,
Без сомненья, до тебя.
Из Габеса в Татаун,
Из Гафсы в Меденин,
Из Мед'нин в Ин-Кабили
И конец...

Конечно, проходя по «большой дороге», мы вспомнили, что наши предшественники ходили по ней. И какие предшественники! От наемных солдат Гамилькара, направлявшихся к Карфагену, до «весельчаков» в помятых кепи, с их трубами, наигрывающими грубый и циничный мотив легкой инfanterии.

Все это, в конце концов, мы смутно почувствовали; правда, только гораздо позже.

Теперь эти долгие годы уже прошли, и что же? Я о них сожалею — и только. И, правда, по сравнению с теми годами, что я прожил после, время, проведенное в легионе, было небольшим, пустячным испытательным сроком, как бы имеющим намерение дать вам предвкушение рая.

Перед отпуском меня отправили на юг, «к верховым». «Юпанда, Юпанда», как говорится в песенке.

Конная часть пользовалась мулами, по одному на двух людей, благодаря чему могла совершать замечательные переходы.

Я упомянул об этом этапе моей жизни легионера, потому что он был отмечен нелепым случаем, которому суждено было приобрести значение в будущем.

Вследствие того, что несколько кочующих разбойников привлекли своими действиями внимание разгневанных военных властей на юге Коломб Бешара, нашей части было дано поручение занять этот пункт, и вот мы расположились лагерем, приняв обычные меры предосторожности.

Нас было семь человек. Мы спорили о том, чем можно заменить отсутствующий табак: альфой, вербложким навозом, эвкалиптом и т. д. Вдруг неожиданный взрыв смеха заставил нас вздрогнуть. Это так не подходило к обстановке, что впечатление было физически тягостно.

— Это гиена, — сказал Шмидт, мой сосед.

Смех раздался снова, менее сухой, более закругленный, если можно так выразиться.

На этот раз, сомнения не было — звуки исходили из человеческой глотки.

Послышались голоса: «Я вам говорил, он с ума сошел. Право, тут нет ничего веселого, приятель! Пойди за набом скорей, скорей, черт возьми!...»

Наб — это капрал.

Легионер споткнулся о наши ноги, так как мы лежали друг подле друга в тени мулов, навьюченных снаряженем.

— Ах! Боже ты мой! Это ты, Горшенки, и ты, Мутонно? «Ястреб» здесь?

— Что случилось? — проворчал Шмидт.

— Это ты, Шмидт? Идем, дружище, посмотри на Бекера... Стоит того.

— Это он там дурачится?

— Послушай-ка его! Как его разбирает!

Мы последовали за Шмидтом. На прифронтовой линии выделялся высокий, тощий силуэт, то согнутый вперед в положении человека, держащегося обеими руками за живот, то запрокидывающий голову, как будто желая глубоко вздохнуть. Конвульсивный смех разливался то восходящими, то нисходящими гаммами. Вокруг человека стояли с дюжину легионеров — они потешались над ним, заложив руки в карманы.

— Ну и веселишься же ты, дружище! Расскажи-ка нам, в чем дело. Нельзя же смеяться одному, это невежливо, —

заметил один.

— Это он и за прошлое, и в запас.

Когда мы подошли, лицо Бекера сияло в темноте весельем с яркостью большей, чем звездная. Было очевидно, что он задыхается. Его руки разорвали ворот мундира, затем он грохнулся на землю. Несколько конвульсий, сильный приступ смеха, перешедший в хрип, и солдат вытянулся на спине, как наполовину убитый заяц.

— Ну как, Америка, лучше? — спросил Шмидт.

Бекер был американец, обычно флегматичный и суровый.

Бекер не ответил. Тогда Шмидт наклонился к товарищу.

— Клаэс, скажи врачу. Так и есть, готов.

— Готов?

— Ну да, я прямо цепенею. Впервые вижу такую штуку. Век живи, век учись! Готов, старина... А улыбка у него — как у святой. Да, черт возьми — никогда не видал этакого!

Пришел врач; он не успел даже застегнуть свою кожаную куртку.

— Где он?

Он пощупал его, выслушал, затем обратился к нам:

— Что-ж, молодчики, пейте, пейте. Вам что ни говори, — как об стену горох. Вот что вас ожидает в один прекрасный день: удар после приступа белой горячки.

Мы похоронили Бекера в песке. Всю ночь после этого события я думал о моем дядюшке Мак Грэмиче. Я поделился своими размышлениями со Шмидтом. Он выслушал историю о капитане до конца, затем очень спокойно попросил дать ему трубку. «Да-да, он тоже умер, смеясь, как Бекер... Так вот, старина, знаешь, что все это доказывает, а? Знаешь ли ты, что все это доказывает? Это доказывает, что Бекер и твой дядюшка — оба они были горькие пьяницы и здесь, среди нас, я знаю нескольких, которые скоро так же повеселятся». И он рассмеялся так искренне, что я последовал его примеру. Только веселость его была несколько шумной и выходила из рамок приличия. Я покинул его и вернулся к моему мулу. Спустя несколько минут, Шмидт при-

соединился ко мне.

— Это прямо идиотство, так смеяться, — сказал он, — у меня даже челюсти свело.

Мы покинули нашего американца, погребенного под альфой. На следующей неделе мы постреляли немного, и рота вернулась в Коломб Бешар. Два месяца спустя, окончив службу, я был уже на приморском вокзале в Оране. Целый длинный год я был отрезан от всякой цивилизации.

Какой прекрасный день ожидания!

Я сидел на террасе кафе перед сомнительным аперитивом, и щеки мои пылали от лихорадки грядущих радостей. Париж и его удовольствия!..

Итак, я должен был вновь увидеть моих родителей. Эта мысль умеряла мою радость. Тем не менее, быть снова с родителями означало для меня позднее вставанье, бифштексы с жареным картофелем и первые покупки, необходимые, чтобы одеться в штатское платье.

Сладкое видение Алисы Портзебр примешивалось к парам абсента!.. Само собой разумеется, я больше не любил Алису; в этом отношении все обстояло благополучно, но, увы! ведь уехал я отчасти из-за нее, — довод достаточный, чтобы не забыть ее и сохранить для нее приличное место в веренице моих чувствительных переживаний.

И, наконец, помимо всех прочих соображений, меня приводила в восторг мысль поразить товарищей. Родителей никогда не поразишь; у них всегда найдется слово-другое, чтобы перенести обсуждаемый предмет на почву, лишенную всякого обаяния. Например, — я видел себя прекрасно описывающим отцу чудеса Африки, рассказывающим с изощренностью писателя мою жизнь в Бледе, излагая несколько сильных мыслей относительно существования и нравственной силы, которую приобретаешь, когда держишь в руках ружье с намерением им воспользоваться. Я слышал также, как отец прерывает мысль в самый эффектный момент — чувствительный или трагический:

«А как насчет твоих орфографических ошибок? Ты посещал вечерние занятия в батальоне?»

Я избороздил Блед во всех направлениях и видел, как мерли, словно мухи, мои товарищи перед шалашами Мульэль-Баши... Я пережил дни ужасающей хандры, дни яростного, кровавого безумия, дни слез и мистицизма. Но для моих родителей важна была только одна вещь: посещал ли я гарнизонные курсы для безграмотных?

С друзьями — дело другое. Портзебр, муж Алисы, как мне казалось, обещал быть идеальным слушателем. Спокойный по натуре, но крайне воинственный в воображении, он был из числа тех, что внимательно следят за движением наших колонн, втыкая в карту фляжки.

Подобное умонастроение продолжалось у меня и на пароходе, где я проводил время в непрерывном курении трубки в обществе одного спаги, ехавшего в отпуск. Переход был относительно спокоен, и, когда был уже виден Марсель, я должен был удержать себя, чтобы не раздать свои полтораста франков — все мое состояние — экипажу.

В один миг я был в полной форме.

Спаги обмотал меня моим синим фланелевым поясом, и я оказал ему ту же услугу.

— Стаканчик, дружище, стаканчик на прощанье, идет?

Он был того же мнения. Спаги был из Ниццы и должен был покинуть меня в Марселе. Распить с ним несколько бутылок значило окончательно распрощаться с африканской землей.

— Что там такое? — сказал Леска: это было имя моего компаньона.

— Кажется, лоцманская лодка, а? Как думаешь?

— Подожди, не вижу... Нет, это таможенная... или санитарная.

Маленькое суденышко причалило. К нам на борт поднялись несколько человек. Последовал продолжительный спор с капитаном.

— Пора! Пора! — ревел десяток «весельчаков», менявших корпус.

Мимо нас галопом пронесся матрос с засученными до

локтя рукавами фуфайки.

— Караптин, ребята! — крикнул он без всяких объяснений.

Глава третья

ПЕРВОЕ ПОЯВЛЕНИЕ ЖЕЛТОГО СМЕХА

Кроме упорства, лучшее качество для достижения успеха — это смирение. Перед стеной, которая грубо возникает с дерзкими намерением преградить дорогу, человеку предстаются две возможности: первая, подчас удачная, заключается в том, чтобы ударять в стену ногой до тех пор, пока, камень за камнем, она наконец не раздробится, и в этом случае стена существует только для шутки, в чем убеждаешься после того, как ее разрушишь. Другая возможность связана с деятельностью мозга. В этом случае мы всячески будем советовать усесться терпеливо у подножья упрямой стены и ждать, чтобы непредвиденное событие перебросило вас через эту стену без вашей помощи. Оба эти метода имеют свои хорошие стороны и могут каждый приводить к тому же результату — к удаче.

По прибытии в порт, в двух шагах от обетованной земли с ее благами, блаженств, которые можно обрести в Марселе за полтораста франков, — тогда, когда мечты, лелеемые в течение пяти лет, наконец осуществлялись, между моей прежней жизнью и той, что мне предстояла, — вдруг возникла стена. Я должен был покориться, так как легче проникнуть сквозь семь футов цемента, чем сквозь административное решение. Убедившись, что история с карантином вовсе не была шуткой, я инстинктивно занял позицию обезоруженного, пришедшего в уныние солдата.

— Таково уж, видно, мое счастье!

Леска, спаги, отнесся ко всему произошедшему несколько иначе, что нисколько не изменило положения. Что касается «весельчаков», они, в меньшее количество времени, чем нужно, чтобы написать это, истощили запас самых отборных ругательств, произошедших от смешения арабского языка с жаргоном их родного наречия. Для всех нас результат был одинаков. Наш гнев уступил место желанию уз-

нать, в чем дело, — и администрация переправила нас, только военных, сгорающих от любопытства, в больничный барак, превращенный в лазарет.

Во время переправы мы обменялись несколькими словами с матросами охраны.

— Что это, холера, чума?

— Не знаем, — отвечали матросы. — Газеты полны всяких небылиц. Так угодно администрации, и разве не глупо так издеваться над людьми, возвращающимися домой?

Это объяснение нас удовлетворило. Без сомнения, это была одна из обычных административных нелепостей, которыми была полна наша военная жизнь, а поэтому этот случай не очень нас ошеломил.

В дальнейшем — изоляция, скука в дыму папирос и трубок.

Так или иначе, но это последнее надругательство, на пороге свободы, после пяти лет притеснений, доводило меня до мысли о самоубийстве.

Мы были скучены в лазарете, как живность в птичнике во время дождя: семеро «весельчаков», африканский стрелок, десяток артиллеристов, зуавы в отпуске.

На следующее утро после нашего прибытия в изоляционный барак нас посетил военный врач. Его сопровождали несколько человек штатских и помощник в черной шапочке и белом фартуке поверх форменной одежды.

— Больных нет? — спросил врач.

Он переходил от одного к другому, беседуя с окружающими. «Необычайно, — говорил он, — и мы еще не знаем бациллы; здесь у нас было уже три случая; это пароход, пришедший из Калифорнии, преподнес нам этот подарок».

Здоровье людей было, видимо, превосходным, и доктор обратился к нам с веселым видом:

— Ну, друзья мои, в ваши годы не стоит унывать, через несколько часов вы будете свободны. Вы любите посмеяться, а? Кто у вас самый веселый?

Подобный вопрос показался нам идиотским. Мы все перекинулись взглядами. «Это он — того», — пробормотал, об-

ращаясь ко мне, африканский стрелок, толкая меня под локоть.

— Никто, никто? — настаивал старый доктор ласковым тоном. — Никто еще не заболевал от смеха?

В наших рядах царило полнейшее молчание.

На всех лицах можно было прочесть насмешливое изумление.

— Они не могут понять, — сказал толстый штатский, осторожно покусывавший свой ус.

Врач направился к выходу. Он должен был сейчас скрыться за дверью. В это мгновение я не знаю, какая сила толкнула меня; это было столь мощное побуждение, что мысль сопровождалась движением.

— Господин доктор...

Он резко обернулся.

— Вот насчет... того, что вы говорите... я видел человека... заболевшего от... по...

— Идите за нами, — сказал доктор, направляясь дальше.

Я поспешил вернуться к кровати взять кепи.

Это меня несколько успокоило. «Как глупо, — подумал я, — что я ему расскажу. Ты слишком порывист, милый мой, это не приведет к добру, вспомни проишествие с кузиной».

Но было поздно менять намерение. Доктор ждал меня. Санитар провел меня в комнату, служившую приемной, где несколько офицеров сидели, развалившись в кожаных креслах.

— Подойдите. Вы — легионер... совсем молодой. Вы откуда?

— С юга, господин доктор.

— Сколько времени вы были на юге?

— Около полутора лет, господин доктор.

— С тех пор вы не читали газет?

— Нет, господин доктор.

— Что вы мне хотели рассказать сейчас?

— Это, это... о тех, кто болен от смеха, господин доктор.

— А! И вы видели таких больных?

Взгляды всех устремились на меня, как спицы велосипеда к втулке колеса. Слегка заминаясь, я рассказал о смерти Бекера в Бледе, подчеркивая опасности и трудности похода на юге.

— Вас об этом не спрашивают, — грубо заметил толстый господин. — Это все, что вы знаете?

История с дядюшкой, хотя устаревшая немного, показалась мне уместной. Быть может, годы придали ей букет, как вину. Признаюсь чистосердечно, — интерес, который я внушал, начинал льстить мне. Это было началом удовольствий, связанных с моим возвращением. Тотчас по прибытии я имел счастье напасть на роскошную публику. Итак, я рассказал и о смерти капитана Мак Грэмича, напирая на описание языка бедного старика.

— Рот у него был раскрыт, как отверстие рожка, — сказал я, — и вдруг язык его высунулся, как крысиная голова, вылезающая из норки. Он был совершенно белый и распухший...

Мои руки неопределенно указали размеры языка, который мог бы принадлежать гигантскому лунному теленку из романа Уэльса.

Толстый человек с орденом повернулся к доктору.

— Это то самое!

— Да, да... — ответил тот, — мы можем отправить остальных без всякой опасности. Что касается этого молодца, я считаю своим долгом оставить его на некоторое время в своем распоряжении... Вы можете идти, — прибавил он, обращаясь ко мне.

В коридоре, ослепленный гневом, я сбил с ног санитара и ворвался, как ветер, в зал, где мои товарищи уже собирали свои пожитки. Я схватил кепи, скомкал его и швырнулся из всех сил в самый отдаленный угол комнаты, затем кинулся на постель, разом перегрыз мундштук трубки, свирепо отправил обломки доживать жизнь в кусты агавы, сабельные клинки которой грозили открытому у моей кровати окну.

— Что с тобой? — спросил спаги.

— Если тебя спросят, ты говори, что ты ничего не знаешь.

Эй, вы, синие, не шуметь! Легион жаждет отдыха. Легион хочет покоя.

Вытянувшись на спине, устремив глаза в потолок, сжав челюсти, я мог беспрепятственно предаваться моей бессильной ярости. Я злился на весь мир, на доктора и в особенности на себя.

Все определения, явно не очень утивые, которые я мог найти на всех языках, слышанных в Иностранном полку, я применял к себе, то по очереди, то сразу небольшими группами.

Я мог поздравить себя с успехом! Через час мои товарищи будут свободны, в то время, как я... я, мой Бог! когда я думаю об этом, кровь и сейчас еще ударяет мне в голову.

Под вечер товарищи ушли, толкаясь у дверей.

Внезапно в зале воцарилась тишина, несчастная тишина, подчеркивающая отвратительный запах фенола, который проникал в открытую дверь.

Я почувствовал, как на глаза у меня навернулись слезы.

* * *

Я уснул; сон успокоил мои нервы и, проснувшись, я испытывал лишь чувство острого любопытства.

Зачем меня здесь оставили? какая связь могла быть между смертью Бекера, смертью капитана Мак Грогмича и моим теперешним положением?

Это безумие, полное безумие.

— Ну, посмотрим! — говорил я себе. — Я свободен и, тем не менее, меня держат в каком-то лазарете! — Я ощупывал себя.— У меня нет ни чумы, ни холеры, ни тифа, ни чесотки... А эта история со смехом...

Дежурный санитар принес мне похлебку. Было десять часов.

— Скажи-ка, приятель, ты не знаешь, доктор отпустит меня сегодня?

— Ничего не знаю.

— Но зачем я здесь? Разве у меня холера? А?

— Не знаю. Кажется, двое померли от смеха: два кочегара, приехавшие из Америки. Во всяком случае, пока че-ред мой не пришел, я более чем уверен, что от этого не помру, — заключил санитар с философским смирением.

— И я тоже! Ах! Обо мне нечего беспокоиться. Нет, со мной это не случится, особенно, если я останусь здесь. Нет ли у тебя газет?.. Что они пишут об этом?

— Зря так болтают. Это вроде аппендицита, будто киш-ка смеха разгулялась.

— Вот сорок су, купи мне газету, колбасы, арбуз и «жел-тых» папирос, остаток возьми себе на стакан вина.

Через несколько минут после ухода санитара меня позвали в кабинет врача. С десяток каких-то личностей забросали меня вопросами относительно смерти Бекера.

— Словом, — сказал военный врач, — можно отпустить его.

— Его товарищ умер семь месяцев тому назад и это долгий срок для инкубационного периода. Я выдам ему пропуск. Что вы скажете?

Предложение было принято. Мне захотелось расцеловать доктора, так бывает — еще накануне мне хотелось его задушить.

Нет надобности описывать вам радость, которую я испытывал, одеваясь перед уходом.

Если бы нужно было анализировать подробно все удо-вольствия, все радости и все огорчения, что составляют для каждого жизнь, — это повествование не кончилось бы нико-гда.

Мое положение можно было определить так: я прожил пять лет моего существования для одного дня счастья. Этот день был тут, рядом со мной, как осозаемый предмет, мне оставалось только воспользоваться им, что я и сделал.

Я вышел из госпиталя или, точнее, я вылетел из него, как пробка из бутылки шампанского. Я вдруг очутился, средь бела дня, на мостовой Марселя, среди трамваев, экипажей, приветствуемых автомобильными гудками, некоторые из которых наигрывали очень эффектно мотивы горнистов,

близкие моему сердцу.

Лазарет внушил мне некоторое отвращение к Марселию. Я никого не знал в городе. Кабилы, торговцы подтяжками и барабаньими шкурами, неприятно напоминали мне Блед. Эти доводы посоветовали мне сесть в скорый поезд, идущий в Париж — конечный пункт моих заботливо лелеянных надежд.

Я сел в вагон с отделениями, с мягкими, кожаными сидениями. К счастью, я успел занять место, так как купе не замедлило наполниться: муж с женой и дочкой, худой, очень довольный собой господин, толстый незнакомец с угрюмой физиономией, какой-то молодой человек, устроившийся в коридоре, чтобы лучше видеть поднимающиеся и опускающиеся телеграфные провода.

Поезд тронулся со скрежетанием, не имеющим названия. Два или три основательных толчка на стрелках, и затем ход выровнялся в ритм, порождающий музыкальные образы.

Ничто так не благоприятствует сочинению мелодий, как равномерное покачивание поезда на ходу. Музыкальная фраза, лишенная всякого интереса, превосходно гармонизируется, и мысленно исполняешь восхитительные мелодии, немного замирающие на каждой остановке, чтобы умереть совсем с окончанием путешествия.

Человек, сидевший напротив меня, худой, с самодовольным видом господин, казалось, совершенно не поддавался этому, что, впрочем, доказывает, насколько мои утверждения, касающиеся музыки и железной дороги, относительны, неясны и, в конце концов, субъективны. Это действительно участь всех наблюдений, с трудом поддающихся определению: автор внимательно смотрится в зеркало, он с интересом устанавливает, что на кончике носа у него прыщик, и так определяет своего героя: «Как все умные люди, Анатоль (или Жером) был подвержен чиреям».

При несколько более резком толчке я открыл глаза и имел несчастье взглянуть на худого господина с самодовольным видом. Я не лгу, я бросил на него только один взгляд, но как он ждал его! Я не успел опустить веки. Его рот мгно-

венно растянулся в улыбку, вся его физиономия засияла и он обратился ко мне шутливым, лукавым тоном — какой считают долгом всегда принимать в отношении военных — со следующими словами:

- Вы едете из Сайда, легионер?
- Нет, сударь, из Бель-Аббеса.
- Ах, так, из Бель-Аббеса, значит, 1-й иностранный?
- Да, сударь.

Он не замедлил забросать меня подробностями, касающимися полка, который я только что покинул. Почерпнув сведения из газет, он производил впечатление, что знает гораздо лучше меня, откуда я еду.

Совершенно бесполезно выводить из заблуждения этот сорт людей, которые нападают преимущественно на беззащитных солдат. Они знают лучше всех на свете действие пулеметов и, хотя они никогда никуда не выходили из своей квартиры — за исключением кафе, пожалуй, — они вам так рассказывают о проделанных вами же походах, что совершенно лишают вас возможности произвести какое-либо впечатление, если вам представится невероятный случай вставить два-три слова.

Мой тощий, с самодовольным видом господин, который кроме того — сказал ли я об этом? — носил короткую подковообразную бороду, принадлежал именно к этой категории. Когда он покончил с Марокко, Тонкином и со множеством очаровательных подробностей об этих двух колониях, я воспользовался короткой передышкой, чтобы перевести разговор на другую тему.

— Скажите, пожалуйста, вы меня извините, но, как вы знаете, газеты редкость там, откуда я еду. Что новенького здесь? В Марселе нас поместили в карантин; я смутно понял, что дело идет о смехе, причем у них там не было намерения острить.

Мой сосед разразился взрывом откровенно проявленного веселья.

— А, вам говорили это... Ха! Ха! Это чудовищно! Чудовищно!

Он обратился к толстому, унылому господину:

— Они заняты этим или, скорее, делают вид, что заняты. Это отвлекает общественное внимание, а в это время они очень мило подготавливают новый заем к весне. Это прямо великолепно!

Толстый унылый господин выразил кивком свое согласие, предварительно посоветовавшись взглядом с другими пассажирами.

— Таким образом, — продолжал тощий, улыбающийся человек, — таким образом, вас засадили под этим предлогом в карантин. В какие времена мы живем? Вот что нас убивает, нас, французов: администрация.

— Но, в конце концов, — прервал я, — в чем же дело? Каков, по крайней мере, предлог, позволивший адми...

— О! Газетная утка, утка из Америки, точнее, из Калифорнии. Будто бы в Сан-Франциско умерли уже сотни людей от... смеха. Да, сударь, от смеха... Какая удивительная шутка!.. Умерли от смеха, и, естественно смех...

— ...заразителен!

— Заразителен, вот именно, естественно, заразителен...

Улыбающимся господином овладел легкий приступ смеха, который он поддерживал, повторяя время от времени «заразителен», точно это слово было источником очаровательной щутки. Ему достаточно было произнести это слово, чтобы возобновить свою веселость, подобно тому, как Антей возобновлял свою силы, касаясь земли.

Когда мой собеседник немного успокоился, я счел уместным произвести маленький эффект, рассказав о смерти Бекера на юге.

Мой рассказ не произвел никакого впечатления на тощего, еще смаковавшего внутренне свое веселье. Все время, пока я говорил, искусно пуская в ход трагические и таинственные факты, он, не переставая, смотрел на меня с насыщенным видом.

— Да нет же, сударь, — сказал он мне, — это что-то не так: я был солдатом.

— Но, черт возьми, сударь, уверяю вас!

— Да, да, я согласен, что... Бекер, не так ли, умер от смеха... по крайней мере, вы ничего не схватили, ибо, как вы

знаете, смех заразителен!

Он снова расхохотался, вытер глаза платком и развернул газету.

— Однако, — сказал толстый, унылый господин, — существует веселящий газ: может быть, это и есть веселящий газ.

— Утечка веселящего газа, — ответил тощий господин, и все расхохотались, включая и семейство, которое до тех пор довольствовалось тем, что пожирало крутие яйца и опустошало литры пива с гордым видом горниста в походе, держащего, согласно регламенту, трубу у рта.

Вскоре усталость погрузила моих соседей в дремоту, и я мог поразмыслять на свободе.

Смех убивает... умирают от смеха... смех заразителен... Поистине, чтобы поверить этому, требовалась изрядная доля легковерности.

В противоположность моему соседу, я не считал эту тему очень смешной, даже при повторении ее на все лады. Сами понимаете, я был свидетелем смерти капитана Мак Грэммича и смерти Бекера.

На Лионском вокзале меня ждали родители, извещенные телеграммой из Марселя. Отец, немного постаревший, был по-прежнему в «резедовой» визитке. Очевидно, запасы «резедового» сукна еще не иссякли, и я с ног до головы покрылся холодным потом при мысли, что мне безусловно предстояло войти в штатскую жизнь украшенным костюмом этого цвета.

Мать изменилась ужасно и далеко не к лучшему. С годами у нее грустно обвисли щеки, что придавало ей добродушный, жалкий вид легавой суки. Это сравнение, применительно к матери, быть может, не слишком деликатно, но оно естественно пришло мне в голову без всякой враждебности. Напротив, я буквально таял от нежности. Я обнял их обоих, затем мы сели в автобус, доставивший нас к самому дому.

В квартире не было никаких перемен ни в лучшую, ни в худшую сторону. В семьях без детей мебель живет долго. Та же столовая, и моя прежняя комната, моя комната, точ-

ный отпечаток моих первых жизненных шагов. Стены были украшены фотографиями футбольных команд, вырезанными из иллюстрированных журналов. Портрет Алисы тотчас же привлек мои взгляды.

— Ах, да, кстати — есть у вас сведения об Алисе?

— Разве ты не знаешь? — сказала мать, — Они живут в Руане, ее муж помощник директора на пуговичной фабрике, он — настоящий господин.

— А!

Мать ушла, оставив меня заняться туалетом; я сел на край постели. Она мягко углубилась под моим весом. Тогда я растянулся на ней во всю длину и валялся на одеяле, ноги вверх, счастливый, как осел на лугу.

Незадолго до окончания службы я отрастил волосы и мог теперь сделать безукоризненный пробор; щетка, смоченная в воде, придала волосам ослепительный блеск. Они блестели не меньше, чем пуговицы на моем мундире.

Ради моего возвращения, дома все несколько вышло из обычных рамок. Это самое тонкое внимание, о котором может мечтать солдат. Я отдал ему должное и пустился в увлекательнейшие описания моих походов. Когда я выпил рюмку ликера, которую мать налила мне для завершения обеда, я услышал под нашими окнами сенсационные выкрики стаи газетчиков, сорвавшихся с цепи.

— Что это, падение министерства? — спросил отец.

Мать прислушалась, открыла окно.

— Не могу понять. Снова этот смех. Уж не знают, что выдумат.

— Н-да! — сказал я. — Эта история со смехом не шутка. В Марселе я был в карантине и видел, как кончился, у Коломб Бешара, мой товарищ... как дядя Мак...

— Да, говорят! — ответил отец с возмущенным упрямством. — Говорят это и многое другое. Только это настроение умов доказывает, что... доказывает...

Он все реже и реже заканчивал фразы. Я не позабыл ся завершить его мысль. Я схватил кепи и собрался выйти.

— Не возвращайся поздно, — сказала мать.

— О! нет! Я пройдусь немножко... Скажи, у тебя не найдется несколько су?

У меня было еще около шестидесяти франков, но — следовало ковать железо, пока оно горячо. Я знал характер моих родителей, а также и то, что через неделю было бы уж слишком поздно пытаться вытянуть у них денег. Мать сунула мне в руку луидор. «Постарайся, чтобы его хватило надолго», — посоветовала она мне.

На улице первой моей заботой было купить вечернюю газету. Под заголовком газеты было напечатано крупным шрифтом:

СМЕРТЕЛЬНЫЙ СМЕХ.

УМИРАЮТ ОТ СМЕХА — СМЕХ ЗАРАЗИТЕЛЕН.
ЭПИДЕМИЯ БЛИЗКО.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

Я с жадностью пробежал «Последние сообщения», стоя под газовым фонарем. Вокруг меня, смеясь, проходили люди.

Десять жертв в Марселе, таков был подсчет для Франции. Эти десять жертв принадлежали экипажу парохода, пришедшего из Сан-Франциско. Там, в Калифорнии, эпидемия причиняла невероятные опустошения. Люди бились в корчах на улицах. Они умирали на пути в больницу, язык у них был вытянут во всю длину, как у ребенка, смотрящего на варенье.

Специальный корреспондент писал: «*Это припадок смеха истерической формы. Больной не может дышать; он задыхается и умирает с глазами, полными слез, его рот растянут до ушей, bucca fissa usque ad aures, как говорит поэт.*

Знаменитый ученый, доктор Вомистик, производит в своей лаборатории изыскания, которые сохраняются пока в абсолютнейшей тайне. Вчера уехал член Института, профессор Фрюжиталь. Опасались присутствия заеки азота, веселящие свойства которой известны. Тако-

вой не оказалось. Надо признать, что ученый мир находится перед неизвестной бациллой, микробом смеха, который отныне мы можем назвать бациллой Вомистика, именем того, кто не замедлит ее открыть.

С завтрашнего дня будут приняты крайне строгие меры предосторожности. Необходимо локализовать болезнь, помешать ей распространяться. До сих пор ей были подвергнуты лишь люди желтой расы! Предполагают, что бацилла Вомистика занесена сюда китайскими землекопами, недавно высадившимися в Сан-Франциско».

«Все же это необычайно», — подумал я, свертывая газету.

Я зашел в бар и заказал «старого рома».

Все кругом обсуждали статью, комментировали события, не принимая, однако, их в серьез.

«У тебя смех». Это поддразнивание стало модным, оно стало вскоре предметом самой популярной песенки, развенчавшей и «T'e nas un oeil», и классическую «Tout du ballot», и «Tu t'as l'sourire», которая долго была их славной предшественницей.

Выйдя из бара, я направился в мюзик-холл. Английские танцовщицы, продевавшие на сцене свои упражнения, уступили место комику, который спел модную песенку, припев которой был подхвачен всеми. Подбоченившись, артист изображал различные виды смеха на И, на У, на О, на А, на Е под шумный аккомпанемент цимбал, барабана и медных инструментов.

«Хи-хи! Ху-ху! Хо-хо!» и т. п., непреодолимо охватывали публику и каждый, раскрыв рот, с багровым лицом, бессознательно подражал мимике певца.

Гром аплодисментов приветствовал окончание песенки, затем наступила тишина и вдруг из одной из лож до несся смех — какое-то резкое кудахтанье — это смеялась женщина, крайне элегантно одетая, смеялась во все горло, выставляя сверкающие зубы, полуопрокинувшись на руки господина во фраке, который казался очень смущенным.

— Хи-хи! — подражали завсегдатаи стоячих мест.

— Это приступ истерики, — утверждала моя соседка.

Смех покрывал голоса и шутки толпы, господин встал, поддерживая молодую женщину, пытаясь ее увести.

В этот момент кто-то крикнул:

— Стой, ребята, это появился смех-холера...

Все зааплодировали, ища глазами печального шутника.

Прекрасную особу увели, смех продолжал душить ее. Внезапно захлопнувшаяся дверь ложи сразу оборвала взрывы ее неестественной веселости. Мне стало не по себе. После какого-то непрятзательного обозрения силы вернулись ко мне. Затем я ушел; свежий ночной воздух, хлещущий по лицу мелкий дождь, насколько возможно, успокоили меня. Мелкий, спокойный дождик — недурное противоядие против чрезмерных радостей. Все бежали, подняв воротники пальто, засунув руки в карманы. Я поспешил в постель, пуховая перина которой подарила мне такой сладостный сон, какого не могли бы ниспослать мне полтораста трубок опиума!

* * *

На следующей неделе портной принес мне штатское плащье, которое, по правде говоря, не так уж ко мне шло. Прибавив несколько франков из собственного кармана, мне удалось купить обувь по своему вкусу. Я носил серую фетровую шляпу с черной лентой, сбрил усы и бороду и походил то на испанца, то на американца, что зависело от освещения.

Благодаря совершенным мною походам, я смог стать военным корреспондентом одной маленькой юмористической газеты. Это было вполне спокойное место, и мои обязанности заключались главным образом в том, что я писал адреса подписчиков на бандеролях, относил рукописи в типографию, а рисунки к цинкографу. При помощи этих услуг, я выколачивал сто семьдесят пять франков в месяц и, время от времени, мог помещать в «Штопоре», — так на-

зывалась моя газета, — маленькую историйку, сокращающую до отказа, за которую мне платили по пять сантимов за строку.

«Штопор» служил посредником между мной и миром литературы и искусства. Я завязал знакомство со знаменитым юмористом Полем Антуаном Сент-Бреби, который со смирением рассказывал мне о своем искусстве. В общем Сент-Бреби был юморист, пришедший в уныние.

Когда смех исподтишка появился в лазаретах Старого и Нового Света, Сент-Бреби вдохновился этой эпидемией, сделав ее темой своих рассказов, и опубликовал огромное количество всяких фантазий исключительно с гомеопатической целью.

Он лечил смех смехом. Роман, который он опубликовал с этим намерением, — на мой взгляд, немного преждевременно, — должен был предохранить читателей от таинственной болезни.

Читая книгу Сент-Бреби, читатель должен был исчерпать все запасы веселого настроения, которыми способен обладать смертный.

Этот предохраняющий роман прошел незамеченным среди множества других романов. Как я уже сказал выше, Сент-Бреби пустил его в продажу несколько преждевременно. Никто не принимал всерьез развитие заразного смеха. Даже газеты проявляли большую сдержанность в своих статьях. Слова: «не ручаясь за достоверность» обычно сопровождали телеграммы, получаемые по этому поводу.

Естественно, что я направо и налево рассказывал о смерти легионера. Но эта история не приносila никакого удовлетворения моему самолюбию — не верили ни единому слову из нее, без сомнения, потому, что она была правдива, и теперь, когда идея о смертоносном смехе понемногу проникла всюду, она казалась, правду сказать, совершенно мрачной, как плод не слишком блестящего воображения.

В этих условиях я молчал про историю с дядюшкой и решил проявлять скептицизм, чтобы не бить на оригинальность, из-за чего рано или поздно мог лишиться места.

В это время Алиса с мужем приехали в Париж по делам. Я отправился засвидетельствовать им свое почтение.

Я снова увидел Алису. Она по-прежнему была очаровательна, изящна, болтлива и так развязна! Несмотря на то, что, в общем, я был достаточно сведущ в женщинах, с ней я становился таким же, каким был прежде. Я буквально глупел в присутствии этой красивой, бедовой и стройной женщины. Ее муж несколько выручил меня, спросив о подробностях моей военной жизни.

Я рассказал ему все и на этот раз попробовал вставить рассказ о смерти Бекера; против моего ожидания, это имело успех.

— Ты слышишь, Алиса... ты слышишь, один солдат, друг Николая, по имени... как?

— Бекер, американец.

— Бекер, американец, умер от смеха два года тому назад, ты слышишь... Надо будет кипятить воду и спать с открытым окном...

— Ax! дорогой, ты же отлично знаешь, что я не могу спать с открытым окном из-за моей пудры.

— Я тебя не понимаю, — возразил господин Портзебр, — но ведь это серьезно.

Затем, ударив меня по плечу:

— Вы должны, Николай, написать об этом книгу. Тема интересна. Да, — продолжал он с уверенностью, — книга о легионе. Нечто новое, сенсационное. Теперь необходимо новое. Например, вы можете назвать вашу книгу: «Иностранный полк». Вместо того, чтобы делить книгу на главы, вы разделите ее на батальоны: первый батальон, второй батальон, третий и т. д.; вы можете подразделить батальоны на роты, и т. д. Я вам даю просто идею, но думаю, что она недурна.

— Да, да, это идея, — ответил я, — благодарю вас.

Вечером я должен был сопровождать их в театр. Господин Портзебр проявил себя человеком положительным во всех обстоятельствах. Он любил новшества, особенно в искусстве; что же касается его коммерции, он всецело следовал советам своих родителей и небезуспешно.

На следующий день я проводил их на вокзал. Я обнял мою кузину при расставании. Ее щеки были холодны, гладки и круглы, как фарфоровые чашки.

Возвращаясь с вокзала, я зашел в кафе, где обычно собирались мои коллеги, журналисты большой прессы. Я заказал себе пива, закурил маленькую трубку из верескового корня.

— Что новенького? — спросил я с безразличным видом.

— Ты не знаешь? — спросил Мушабёф из «Утреннего Рожка».

— Нет, мой друг, я провожал моих родственников из провинции... и... это легко наверстать...

— Смех, мой друг, желтый смех, как называют его в Америке и в России, этот смех уже в Париже. Я только что из Лярибуазье, там изолированы десять больных, в Теноне столько же, в Сен-Луи — с дюжину, и это не выдумка, дружище, прочти завтра мою заметку в моей газете, я не преувеличиваю. Очевидно, это занесли из Марселя или из Гавра, а возможно, с дальневосточным прямым поездом... Это китайцы наградили нас таким продуктом... Врачи совершенно бессильны, дорогой мой. Они только таращат на больных глаза, как утки на пучок репы. Они почесывают голову, покусывают усы и затем говорят сиделке: «Вы дадите ему пить, когда у него будет жажды». Вот вы увидите, через неделю люди начнут дохнуть, как мухи, а все, кто не умрет от этой штуки, будут влачить существование в домах умалишенных. Это я вам говорю... а я уже говорил, вот здесь же, что японцы побьют русских, и японцы побили русских... ибо так должно было быть.

Глава четвертая

ИЗБИЕНИЕ КЛОУНОВ

Всю ночь я вертелся с боку на бок и не мог заснуть.

«Желтый Смех в Париже».

Эта фраза плясала в моей голове, прерывая нить моих мыслей.

Невыносимая испарина заставила меня сбросить одеяло и тотчас мне стало холодно.

«Желтый Смех, — думал я, — хорошее название! недурная идея, — красивым названием приукрасить скверную болезнь».

Особенно мне было противно это определение — желтый. Этот цвет рождал представление о море. Это вызывало в памяти ужасные картины жестоких дней холеры под палящим солнцем Веракруца, этот желтый цвет говорил об ужасной тайне чумы, вместе с которой он явился с Дальнего Востока, называемого желтой страной.

Когда я произносил это слово, во рту появлялся едкий вкус меди и яда. Я видел в Орано, на борту одного транспортного судна, кочегаров-китайцев, и теперь ночью я представлял их себе, охваченных смехом, с широко открытыми ртами корчащихся на полу их грязных берлог в «Фриско».

Невероятный ужас перед заразными заболеваниями и разложением охватил меня. Я покрылся одеялом с головой, но перед невольно закрывающимися глазами все еще возникал смутный образ незнакомого парохода, стоящего в одном из портов Средиземного моря. На его высокой мачте развевался желтый флаг, показывающий, что на борту заразная болезнь, — ужасный смех, занесенный из Китая в ящиках с чаем.

Когда я, наконец, задремал после бессонной ночи, в комнату вошла мать; она принесла кофе и газеты.

— На... прочти... отец очень взволнован.

Коротенькие сообщения подтверждали слова Мушабёфа. Я больше не мог сомневаться. Между тем, все шли на работу, не беспокоясь о происходящем, потому что никто не видел жертв.

Вообще настроение населения было превосходно. Для большинства Желтый Смех продолжал быть литературным развлечением в духе времени. Прежде чем нападать на людей, Желтый Смех убивал полицейский роман, бывший тогда во всей гордости своего успеха; фельетоны ужасов и книги кошмаров больше не могли бороться с тревожными телеграммами, дающими только сведения.

Цензура приняла строжайшие меры в отношении каблограмм из Америки и с Дальнего Востока. Мы ничего не знали, что происходит в Шанхае и в Сан-Франциско.

Между тем, верховные представители каждой нации, императоры, короли, президенты покусывали ногти и рвали на себе волосы.

Медицинские академии и врачебные комиссии бледнели перед ужасными призраками мер предосторожности.

Одна большая вечерняя газета «Набат» позволила себе дать населению несколько советов.

«Не следует тревожиться, — говорил влиятельный листок, — Желтый Смех будет скоро локализован. На окраинах, вдали от центра, сооружаются специальные госпитали, где больные будут находиться под наблюдением в продолжение необходимого срока. Доктор Вомистик уже открыл сильнодействующую сыворотку: меланколиаз. Мы всячески готовы советовать нашим читателям не приходить в отчаяние, но совершенно необходимо принять некоторые меры предосторожности. Избегайте всемерно причин для смеха. Почти доказано, что сведение челюстей и движения, характерные для обычного смеха, совершенно схожи с проявлениями Желтого Смеха в его последней стадии. Эта болезнь, по мнению доктора Вомистика, разделяется на три периода: первый период, называемый нервной смешливостью, отличается покусыванием губ и дрожанием кончика носа. Второй период — сдер-

жанность — не носит никаких отличительных признаков, и, наконец, третий период, называемый периодом взрывов, проявляется таким образом: больной надрывается от смеха, задыхается и умирает. Этот период особенно опасен: заражаются именно в этот момент. Не следует, таким образом, смотреть с восхищением на тех людей, которые так весело смеются. Бегите от них. Возвращайтесь домой и затыкайте уши, если думаете о них.

Вомистик уже установил, что болезни этой не подвержены ни глухие, ни слепые.

Вот предохраниительное средство: закрывайте глаза и затыкайте уши».

Эта двусмысленная статья возбудила в публике сильнейшее возмущение.

Издателя газеты заподозрили в желании предать свою клиентуру и, в результате, он потерял несколько тысяч подписчиков, которые «не совсем одобряли эту юмористическую статью, бесспорно, написанную больше для американцев, нежели для французов».

Между тем, некие веселые личности воспользовались случаем и выражали по этому поводу самую непристойную веселость. Шутники забавлялись тем, что наводили страх на мастериц, выходящих из мастерских, сначала симулируя приступы Желтого Смеха, а затем пускаясь во всевозможные, достойные всяческого порицания фривольности, допустимые обычаями в нормальное время только в священный день середины Великого поста.

Когда я пришел на работу в «Штопор», юморист Сент-Бреби наполнял кабинет издателя своими жалобами.

— Знаете ли, что теперь идет? — говорил он патрону. — Библия, да, мой дорогой, Библия, в издании по девяносто пять сантимов. Вчера я встретил одну молоденькую девицу лет пятнадцати, она служанка моей кузины, — она читала Библию. Я видел, как она шевелила губами, словно обезьяна, чистящая орех. Я вас уверяю, — она учила наизусть книгу Пророков.

— А ваша книга?

Сент-Бреби подпрыгнул и свистнул, как слишком полный сифон, когда его нажимают.

— Моя книга! Вполне понятно — кто может ее покупать? Все сошли с ума. Вы читали сегодня статью в «Набате»? Но публика не так глупа, довольно ее морочили, она не поддается. Я вам говорю, все это лишь фортель издателей, выдуманный для того, чтобы пустить в ход новое издание Библии.

Сент-Бреби подошел к окну, взглянул на улицу. Вдруг мы увидели, что ого розовое лицо побледнело. Он раздвинул занавеси, и мы подбежали к окну посмотреть, что произошло. Двое полисменов, ни живы ни мертвы, несли на носилках англиканского пастора в белом галстуке и черном одеянии. Синевато-багровая физиономия несчастного светилась радостью со всеми признаками смертельного смеха. Это зрелище продолжалось не больше одной-двух минут. Кто-то принес одеяло, которое набросили на умирающего.

Толпа становилась все многочисленнее, останавливая уличное движение, которое только и ждало этого.

Сент-Бреби, упав на стул, скреб свои бритые щеки.

— Ну, черт его возьми! — простонал он по адресу пастора. — Если уж этих настигло, мы погибли; да, мы кончены и можем сложить свои пожитки.

Мы были совершенно уничтожены, за исключением патрона, который, воспользовавшись моим состоянием невменяемости, уменьшил мне жалованье.

Когда в кабинет вошел Мушабёф, мы были очень похожи, как он сообщил мне потом, на белье, развешанное на веревке при свете луны.

— Здравствуйте, — сказал он, — здравствуйте. На этот раз это уже стало фактом, и лучшим доказательством того, что это стало фактом, служит отсутствие золота в банках! Все бегут в деревню. На Сен-Лазарском вокзале, на Восточном, на Лионском — всюду поезда берутся с боя. Пойдите в Пасси, вы расскажете мне новости. Улицы пусты, жители уехали. Я хочу последовать их примеру. У меня есть дядюшка в Нормандии, я отправлюсь к нему. Это не слишком

веселый субъект, но я не стремлюсь к веселью... Вы понимаете, сейчас не время для этого.

Я вышел с ним. На больших бульварах огромная толпа собралась перед залом телеграмм «Набата». Каждый объяснял события по своему настроению и соответственно своему красноречию.

— Сегодня у нас было шестьдесят случаев на Монмартре, — сказал один.

— Вам нечего жаловаться, — отвечал другой, — Монмартр — это еще не самый опасный квартал, а вот посмотрели бы, что делается в Бельвилле и в Ла-Вилет. Там люди валяются, как су, корччатся на тротуарах, как части разрезанных змей.

— Я слышал, как смеялся один больной: можно было подумать, что его щекочут под мышками. Вое же невозможно, чтобы врачи не нашли какое-либо средство.

— Откуда это вы взяли, что ничего найти не могут, принимайте меланколиаз. Все берут его у меня.

— Меланколиаз — чепуха, — возразил худой молодой человек, очень изысканно одетый, — это сделано из старых учебников, сваренных в дождевой воде.

Подобное объяснение, казалось, не удовлетворило приверженца лекарства; он повернулся к нам. Мы только успели проскользнуть между двумя рядами автомобилей.

— Кстати, — сказал я, когда мы перешли на другую сторону, — знаешь ли ты состав меланколиаза?

— Не знаю, — ответил Мушабёф, — не знаю, но ты дал мне мысль. Пойдем к Вомистику, он не откажет нам в интервью. Это будет грандиозно. Мы вместе напишем статью и поместим ее в «Набате» или в «Большой газете», — я знаком там с заведующим информационным отделом.

Мы подозвали такси и дали адрес квартиры д-ра Вомистика — улица Соматр 7, в Нейи.

Доктор Вомистик жил в большом доме в стиле английских коттеджей, с характерной для них крышей, которая, казалось, сидела на всех комнатах жилища, как курица на яйцах.

Мушабёф, предварительно кашлянув, чтобы убедиться в состоянии своего голоса, позвонил у ворот. Послышались шаги по песку и пред нами предстала негритянка; она была в оранжевой чалме, в шерстяном лиловом платье, в классическом фартуке субретки; увидев нас, она оскалила зубы.

— Доктор Вомистик.

— Да, — сказала она, — масса здесь; много работы. Синьор сказать мне зачем и я дать карточку масса.

Мушабёф протянул свою карточку, написав на обратной стороне просьбу о приеме.

Негритянка исчезла, покинув нас у подъезда, и тотчас вновь появилась в двери, оставшейся открытой.

— Come here, — сказала она просто.

Мушабёф пошел вперед, я за ним. Служанка провела нас в ателье, в конце которого находился знаменитый Вомистик, в белом халате, в зеленой, бархатной шапочке с золотым галуном, какие носят международные игроки в футбол.

Это был толстый человек, совершенно бритый, с двумя складками по обеим сторонам носа, очень схожими с колеями на тучной земле. Его светло-желтые, круглые глазки, ненормально отдаленные друг от друга, походили на глаза попугая. Чтобы посмотреть кому-нибудь прямо в лицо, он должен был становиться в профиль.

Короче говоря, доктор имел вид первосортного человека.

Он предложил нам сесть, и Мушабёф тотчас начал бормотать профессиональные фразы, которые должны были извлечь из гиганта несколько признаний о восхитительном изобретении, которому предстояло спасти человечество.

— Вы хотите знать о меланколиазе?

— Собственно говоря... да... Публика с нетерпением ждет каждый день результата ваших величайших открытий. Мы

пришли к вам сюда от имени всего человечества.

— Вы должны знать, что я не могу дать вам формулу моего средства.

— О! — произнес Мушабёф с возмущением. — Как вы могли предположить... Собственно говоря, мы желали бы знать, располагать некоторыми подробностями, могущими успокоить волнующиеся массы.

Глаз Вомистика расширился; он обернулся к нам и указал на дверь налево.

— В конце концов, — вздохнул он, — момент, может быть, наступил. Вы можете последовать за мной? — спросил он, повернувшись на этот раз профилем, чтобы в упор посмотреть на Мушабёфа.

— Мои научные занятия... — начал последний. Доктор не дал ему закончить свою мысль.

— Оставьте ваши научные занятия в покое. Наука, слышите ли, наука, это меньше, чем ничто, как бы сказать, это... толстая кожа на колбасе... не больше. Единственные люди, достойные уважения, были те, что занимались эмпиризмом, я разумею колдунов. Все, что мы можем сделать в наши дни, это расшифровать Парацельса и Николая Фламелля. Делали ли алхимики золото? Я в этом не сомневаюсь, но они знали, что, сделав всеобщим достоянием производство ценного металла, они уничтожили бы его ценность.

— Великий Альберт, — продолжал Вомистик, — книга очень доступная, я хочу сказать — азбука, однако под живописностью ее рецептов кроется правда. Не я изобретатель меланколиаза, — прибавил он тихо, — я только применил к новому роду заболевания средство, главные принципы которого дали мне древние алхимики.

Правый глаз знаменитого доктора, казалось, погрузился в какие-то грезы, совершенно от нас ускользавшие. Потребовалось добрых пять минут, чтобы Вомистик снова пришел в себя; развивая свою мысль, он схватил Мушабёфа за пуговицу пальто.

— Я полагаю, вы знаете, что такое колдовство? Хорошо! Вы достаточно знаете об этом, чтобы понять суть моей тайны. В прежние времена, когда колдун хотел кому-ни-

будь отомстить, он околдовывал его. Приемы для этого варьировались бесконечно. Во всяком случае, один из них был для меня спичкой, позволившей мне видеть в темноте, вставить ключ в замок и отворить божественную дверь. Этот способ, употреблявшийся колдунами, состоял в том, что хлестали розгами жабу, уже по своей природе склонную к мизантропии. Животное, приводимое таким образом в течение месяца в состояние гнева и бессильной злобы, начинало испускать слону, как улитка на слое соли. Когда жаба достигала предела всемогущей ненависти, ее клали в стеклянную банку, которую закапывали перед домом, где жила жертва. Тогда злоба пленного животного достигала таких размеров, что действовала, как стихийная сила, неведомая людям. Она, неизвестно каким образом, излучалась из банки и несла смерть тому, кого наметил колдун. Из всего этого, господин Мушабёф, запомните одну вещь: злоба убивает, она может действовать, как жидкий яд; действие его ужаснее всего тем, что оно не сопровождается никакими симптомами. Случай с жабой — и есть попросту принцип меланколиаза. В болезни, которая нас занимает, в Желтом Смехе, важно одно обстоятельство — умирают от смеха. Следовательно, нужно помешать человеку быть подверженным смеху, и для этого я использовал силу, которая была до сего дня не использована, — страшную силу скуки, присущую некоторым, предопределенным для этого людям.

— Тоску, — сказал я.

— Совершенно верно — тоску, как вы деликатно изволили заметить. Скука — это сила, которой природа наделяет всех людей, только в различном количестве.

Не все могут скучать. Мне нужно было передать скуку безразлично кому, но в материальной форме, которая одна только могла дать результат. Сделав укол кому-нибудь, самому веселому человеку, в руку, например, я превращу его в столь же мрачного, как роман Анны Радклиф, если хотите. После приема или, вернее, впрыскивания меланколиаза, я предлагаю Желтому Смеху вызвать хотя бы малейшую улыбку на губах того, кто проделал это лечение.

— Это — восхитительно, это — превосходно, — прервал скептик Мушабёф, — но ведь надо найти это чудодейственное и печальное вещество, которое спасет человечество от смертельной веселости.

— Вы поняли историю с жабой?

— Да, — ответили мы.

— Тогда, господа, прошу вас следовать за мной, в мою лабораторию, там перед вами и раскроется тайна.

* * *

Доктор Вомистик, помимо коттеджа, должен был владеть еще и значительной частью катакомб или сточных труб Парижа, в чем мы могли убедиться после длительной подземной прогулки, которую мы проделали в его обществе.

Коридоры, винтовые лестницы, все глубже и глубже уводящие под землю, узкие, сырьи проходы, которыми пользовались крысы, привели нас к железной двери, выкрашенной суриком, настолько отвратительной, что кровь в наших жилах сделала полный круг со скоростью шарика в автомате для игры.

Доктор отворил эту дверь, и мы проникли в лабораторию.

Вообразите себе огромный зал, освещенный электричеством, с белыми кафельными стенами, имеющий приятный вид роскошной молочной.

В глубине комнаты, рядом с операционным столом, возвышался атанор или философский горн, покоящийся на трех кирпичах и, казалось, ожидающий яйцо, из которого должен родиться эликсир жизни.

Наше внимание привлекли огромные клетки, стоящие двумя рядами по обеим сторонам главного входа.

В них находились человеческие создания и к ним-то и повел нас доктор.

— Они спят, — сказал он, и, вынув морской свисток, из-

дал две-три пронзительные ноты, закончившиеся модуляцией, — так командир судна зовет вахту на палубу.

Результат последовал мгновенно. Ворчания, визг, писк, вой и т. п. наполнили огромный зал. Все несчастные существа, закованные в клетках, заволновались, словно чертенья в ванне, наполненной водой из Лурда; тощие руки, огромные кулаки протягивались по направлению к нам.

Было совершенно невозможно уловить хотя бы одну фразу в этом концерте воплей; между тем, нам все же удалось отчетливо различить слова: «Свинья! Свинья! Бандит! Негодяй! Убийца!», не оставлявшие в нас ни малейшего сомнения в состоянии чувств тех, кто их произносил.

— Это настоящий успех, — заявил Мушабёф, очевидно, чтобы сказать что-нибудь.

— О! — скромно возразил доктор, — это успех из почтения.

В первой клетке находилось существо, все обросшее волосами, со сверкающими глазами, но так глубоко сидящими в орбитах, что они походили на раскаленные угли, забытые в глубине очага для печения хлеба.

Вомистик подошел к нему и, не обращая внимания на прыжки и ругательства несчастного, резко сказал:

— А! Старый рогоносец! Я видел сегодня твою жену; она провела ночь с негром. Впрочем, она обманывает этого негра с каким-то кретином с Альп, которого она специально выписала.

При этих словах заключенный запрыгал, как белка.

— Я это подозревал, — крикнул он, — я убью их обоих!

Он прокричал по адресу своей супруги несколько кратких определений, которые, к нашему великому сожалению, мы не можем воспроизвести, а Вомистик прошел к клетке номер два.

— Здесь, — сказал он нам, — находится тип, который никак не может внести своей квартирной платы. Я старательно поддерживаю его заботу. Вы увидите.

— Как с платой, господин Вантрпье? Вы мне еще не уплатили за вашу комнату.

При этих словах Вантрпье изменился в лице. Он заску-

лил:

— Подождите до завтра. Я должен получить деньги из дома. Даю вам слово, завтра я уплачу.

— Но не позже, — ответил неумолимый Вомистик, — иначе — вон!

Так мы втроем обошли всю лабораторию, останавливаясь по четыре, по пять минут у каждой клетки. К каждому заключенному Вомистик обращался с несколькими соответственными любезными словами, в том же роде, как те, что приведены выше.

Когда обход был закончен и мало-помалу восстановилась тишина, Вомистик пригласил нас сесть с ним к столу, заставленному пузырьками, на некоторых из которых уже были наклеены этикетки со словом «меланколиаз», напечатанным золотыми буквами на лиловом фоне.

— Это и есть главное вещество, — сказал доктор, — и вот каким образом я его собираю. Все эти господа, — и он указал на заключенных, — снабжают меня необходимым веществом; я с них собираю продукт, который должен спасти миллионы человеческих жизней. Это попросту вивисекция, которая базируется, само собой разумеется, на истории с жабой.

Я уже говорил вам, что, раздражая это животное, получали нечто вроде жидкого гнева, который легко собрать, — что касается меня, то я применил этот же принцип для добывания противоядия против Желтого Смеха, то есть для добывания хронической тоски.

Как я уже сказал, не все могут грустить изо дня в день. Я разрешил эту проблему, собирая тоску с крайне грустных индивидуумов и химически превратив ее в жидкое состояние и материализуя ее в виде жидкости, которую вы видите в этих, тщательно закупоренных флаконах.

Все эти господа в клетках — великолепные источники меланхолии и сплина. Первый — ревнивый муж, которому жена наставляет рога; второй — несчастный, у которого начинают лезть волосы каждый раз, когда приходится платить за квартиру, и он живет в невероятном страхе перед этим событием. Тот, которого вы видите там, который грызет ног-

ти чуть не до локтей, непризнанный изобретатель; этот — отверженный влюбленный.

Я посещаю ежедневно моих пленников, я знаю тоску каждого и соответственными словами поддерживаю их в состоянии крайне возбужденного отчаяния. Когда они доходят до пропасти или, вернее, достигают пароксизма тоски, я собираю маленькой ложечкой слезы, текущие из их глаз, или испарину, покрывающую их лбы. Эти слезы и капли пота, смешанные с касторовым маслом, которое уже само по себе в силах отравить человеку всякое веселье, дают мне после стерилизации жидкость, способную толкнуть на самоубийство того, кто примет слишком большую дозу ее. Эта жидкость и есть меланколиаз. Хотите флакон?

Мы взяли пузырек, ища глазами красную дверь. Доктор Вомистик поймал наш взгляд.

— Я провожу вас, — сказал он.

Сняв еще каплю пота с носа ревнивого супруга, он прошел вперед, и мы проделали в обратном направлении путь, пройденный несколько часов тому назад.

Когда мы вышли на милую улицу, на честную улицу доброго старого Отёя, мы молча посмотрели друг на друга, и тогда мы с негодованием установили, что волосы наши поседели и стоят дыбом, как щетина, которой украшают щетки для чистки стекол.

* * *

Мушабёф, пожав мне руку, бросился в редакцию «Набата» отнести свою статью.

Я направился домой, немного постарев, но не веря больше в меланколиаз доктора Вомистика.

Настал момент, когда следовало бы отправить родителей в деревню, а затем — уехать самому вместе с Мушабёфом. Мои сбережения составляли триста франков золотом, этого было достаточно, чтобы просуществовать при том положении вещей, которое угрожало перевернуть все социа-

льные устои, делая серебро и золото бесполезными в новых условиях существования.

Скоро должна была начаться у нас жизнь свободных стран с ее царством силы и единичных умов. Можно было предугадать, что хлеб насущный будет добываться не иначе, как хитростью и насилием. Проходя мимо оружейной лавки, я купил за семьдесят пять франков великолепный американский револьвер и достаточный запас патронов.

С тех пор мне стоило только пощупать в кармане ручку моего револьвера, как во мне снова появлялись бодрость и уверенность в себе. Желтый Смех казался мне менее страшным. Отныне я мыслил, как ковбой, подражая спокойствию этих грубых юношей, живя, как они, хотя все это происходило еще задолго до прихода тех губительных дней, которые превратили французскую землю в дикие прерии.

Эти ободряющие мысли привели меня к родительскому дому.

Проходя мимо комнаты швейцара, я увидел несколько физиономий, смотрящих на меня из-за занавесок.

На всех лицах, обычно ничего не выражавших, был написан немой страх. Я не обратил на это внимания и, шагая сразу через две-три ступеньки, подошел к нашей двери, совершенно запыхавшись.

Имея всегда при себе ключ, я вошел без звонка и увидел в открытую дверь комнаты родителей мать, упавшую на край кровати, и отца, вытянувшегося во весь рост с бескровным яйцом, с деснами, обнаженными ужасным смехом.

Мать не замечала моего присутствия. Она шептала тихим, таким грустно-комичным голосом:

— Мой бедный старик, тебе холодно... накройся... не смейся так... ты знаешь, это причиняет тебе боль... хочешь чаю?

Я положил ей руку на плечо. Она вздрогнула и, когда я обнял ее, она казалась жалкой охапкой теплых тряпок.

— Не нужно оставаться здесь, мама. Я все устрою... Вы поедете к Алисе и ее мужу в окрестности Руана... в деревню.

Тогда наступили самые трудные, тяжелые часы моей

жизни. Но я ничего не скажу о них, считая, что мужчине не подобает выставлять напоказ свое личное страдание или радости, что, к тому же, никого не интересует. Ведь каждый может нуждаться в деньгах, обладать жалкой любовницей, любить женщину со сложным характером и потерять своих близких.

Смерть отца поставила нас под подозрение и дала волю враждебности соседей и привратницы, в этом случае их посреднику. Надо было уезжать. Я отвез мать к поезду, который должен был доставить ее, со всеми ее жалкими пожитками, к Алисе, предупрежденной письмом. Мне стоило нечеловеческих усилий усадить бедную старушку, которую я так больше я не увидел, и поезд, увозивший ее, был последним, ушедшем из Парижа.

Мушабёф, получив гонорар за статью, присоединился ко мне. Мы решили уехать в течение недели, ибо Париж становился все более и более необитаемым. Ночные нападения умножались с каждым днем. Каждый спешил насладиться существованием соответственно своей нравственности и своим вкусам.

Замечательно, что женщины особенно страдали в этот период. Человеческое воображение, избирая различные дороги, приходило к единственной цели: к женщине.

То был ужасный разгул низменных страстей, устремленных на прекрасные существа — гордость расы. Приходилось охранять жилища известных красавиц, и можно было видеть, как у ворот некоторых особняков, где жили элегантные женщины, дежурили солдаты пехоты в полном походном снаряжении, потягивающие с блаженным видом винцо, подносимое им хорошенькой горничной, похожей на литографию из календаря.

Золото также было одним из полюсов, притягивающих человеческую энергию; кражи все учащались, становились более дерзкими и проходили безнаказанно.

Полиция, ряды которой поредели от Желтого Смеха, старалась совершенно бесплодно; убийства, налеты и кражи совершались направо и налево.

Я непрестанно поздравлял себя с покупкой револьвера. Мушабёф, подражая мне, сменил свой плохой бульдог на более серьезное оружие, способное всегда подчиниться воле того, кто им пользуется.

В Париже уже начали жить, как в покоренном городе. Перестали платить, и по этой причине один за другим закрывались магазины, рестораны, и только театры еще пытались развлекать публику, как в прошлые времена. Странная и, вместе с тем, характерная человеческая черта — тот, кто не мог или не хотел платить за съестные припасы и за самые необходимые вощи, находил еще несколько су на цирк, кинематограф, театр или мюзик-холл.

Мушабёф и я, желая, без сомнения, соприкоснуться в последний раз с тем, что было утешой нашей цивилизации, отправились в цирк Моралес, подлинный, традиционный цирк с лошадьми, с атлетами, с клоунами, прекрасными по уму и таланту!

Когда мы вошли, цирк был уже полон. В коридорах, ведущих в конюшни, рота муниципальных войск ставила ружья в козлы.

Представление уже давно началось, и мы ждали у маленькой лесенки, которая вела к нашим местам, не имея возможности пробраться вперед, и нас со всех сторон толкали все прибывающие и прибывающие зрители.

Оркестр играл какой-то модный американский мотив, Мушабёф аккомпанировал ему, ударяя по стенке. Через головы публики мы могли видеть освещенный, оранжевого цвета, цирковой купол, в котором, время от времени, на мгновение появлялся акробат в лиловом трико, выпускающий трапецию, чтобы описать траекторию, пробег которой терялся в толпе.

Вдруг музыка замолкла, затем мы услышали продолжительный барабанный грохот, раздались аплодисменты, ослабли, усилились, замерли, в то время как неподражаемый голос клоуна бросал веселый призыв с тем особым акцентом, которого нельзя найти ни в одном языке.

— Это Маскатто и Лью, — сказал сосед. Головы вытянулись, каждый поднимался на цыпочки. Я сделал невероят-

ные усилия коловорота, чтобы втереться меж двух толстых субъектов, и в это время свежий, шаловливый, безумный, очаровательный, какой угодно, прекрасный смех, смех молодой девушки, ответил на голос клоуна.

В один миг я был оттеснен и вылетел в коридор, как пробка из игрушечного пистолета!

В зале поднялся необычайный шум. Трах! трах! — раздались два револьверных выстрела, затем три, затем четыре; электрические шары посыпались со звоном.

Из каждой двери, на мгновение закупоренной гримасничающими лицами, руками, хватающимися за косяки, сапогами, ударяющими по ногам, полилась нескончаемая толпа, как вода из продырявленного бака.

Я услышал голос Мушабёфа: «Николай! сюда, направо». Он схватил меня одной рукой, другой показал пропуск. Мы прошли сквозь ряды солдат, добрались до артистического выхода и отворили дверь, выходящую на улицу. Там кишила огромная толпа.

— Желтый Смех! Желтый Смех! Это Желтый Смех... Да я же вам говорю, черт возьми!

Быстро приближающийся издали крик взлетел, как ракета: «Смерть им, смерть им!»

Раздались еще два револьверных выстрела. Почти раздавленные толпой, мы вернулись в цирк. На маленьком дворе перед нами находилась пожарная лестница; взобраться по ней было очень легко, и вскоре, пробежав по крышам, мы могли увидеть площадь Пигаль и маленькие, темные улицы, подымающиеся на вершину Монмартра.

Налево у наших ног пустынная улица представляла собой ошеломляющий контраст с криками и суматохой — причины которых мы не знали, — царящими на бульваре.

Пока мы рассматривали сверху план XVIII округа, у начала темной и тихой улицы появился какой-то сверкающий силуэт, человек в костюме с красными блестками, который неуверенно остановился на мгновение и затем решительно бросился во мрак. Он бежал, как пылающая зебра. За ним, почти нагоняя его, появились сначала несколько черных фигур, потом — целая толпа, похожая на море из

чернил. Раздавались крики: «Бей его! бей!» Щелкали револьверные выстрелы, сопровождаемые каждый, — быстрой огненной стрелой. Мы услышали ужасающий крик, крик убиваемой лошади, затем блестящая фигура остановилась, упала и сразу потухла, как погашенная свеча.

Послышался топот двадцати тысяч ног, несколько выстрелов, треск разрываемого полотна. Без сомнения, лебели стрекотали там, у площади Бланш.

— Спасайся, спасайся, дружище! — вот все, что мог произнести Мушабёф.

Я почувствовал, как задрожали мои колени, я только успел схватиться за трубу, прислонясь к которой стоял, и должен был растянуться на крыше во весь рост.

Так мы лежали, семь или восемь минут, в оцепенении, в конце концов, довольно приятном. Я первым вернулся к действительности.

— Эй, друг, — крикнул я.

— А-а-а-ах... пчхи! — ответил мой приятель.

Нас окутало облако дыма.

— Они подожгли... вон там, у главного входа пылает, спустимся по лестнице!..

Мы заторопились, неловко скользя по цинковой кровле, хватаясь за трубы. Перед нами раскрылась черная дыра, Мушабёф лег на крышу ничком, половила туловища его висела в воздухе, и он шарил ногами по стене.

— Вот лестница, — сказал он, — я нащупал ее.

Он начал спускаться, я последовал за ним. Два или три раза он крепко выругался, потому что я наступал ему на руки, и мы спустились на землю.

Внутри цирка огонь гудел, как в печке. Улица была пустынна. Вдали две печальные ноты пожарных рожковозвещали прибытие помощи.

— Удираем, — заявил Мушабеф.

На внешних бульварах между солдатами и бунтовщиками начиналось настояще сражение. Не имея возможности продвигаться вперед, пожарные пустили в ход насосы, направив их в толпу, которая, в свою очередь, перерезала трубы. Тогда пожарные вернулись в депо, а из военной шко-

лы прибыли два эскадрона кирасир на помощь линейному батальону, вмиг доставленному на место сражения.

Мы углубились в лабиринт пустынных улиц, намереваясь пробраться к редакциям больших газет. Так как улица Монмартра была запружена конной и пешей полицией — мы прошли на площадь Республики обходным путем. Благодаря нашему пропуску, мы имели возможность пройти сквозь взвод драгун. Мушабёф посмотрел на воротник одного бригадира. «Это драгуны из Провена», — сказал он.

На Севастопольском бульваре, на тротуарах рядами лежали тела, как зайцы, разложенные в порядке после президентской охоты.

Мы шли молча, торопясь получить точные сведения, но в нас не было большого любопытства, потому что в глубине мы отлично знали, что это должно было произойти не сегодня-завтра.

Раскрытая пасть станции метро, как подземное чудовище, выползшее на поверхность земли, выплевывала пеших стрелков, тоже в полной походной амуниции.

Они выстраивались по четыре в ряд, рота за ротой и, сопровождаемые всяким сбродом, быстрым шагом направлялись к площади Республики.

Вдали снова началась стрельба: длительный треск и отдельные выстрелы.

— Пулеметы, — сказал я Мушабёфу.

— Это конец света, — простонал он.

— Надо уезжать, начинается безумие; ничего хорошего мы не дождемся.

— Попробуем еще поместить последнюю статью, — настаивал репортер. — Вот полицейский, я его проинтервьюирую; еще не поздно сдать статью в «Набат».

Перед нами стоял, как изваяние, полицейский, засунув руки в карманы черного мундира, пристально смотря потухшим взглядом на улицу, покрытую шляпами, палками и неопределенными обломками.

Мушабёф показал свой пропуск.

— Что происходит?

Офицер насмешливо посмотрел на него.

— О! Ничего особенного, ничего особенного... Да не вытаскивайте вашу записную книжку, это бесполезно, газеты завтра не выйдут.

Тогда он нам рассказал, что паника, вызванная случаем Желтого Смеха, возникла в цирке Моралеса. Обезумевшие зрители бросились на беззащитных клоунов, моливших о пощаде, поднимавших вверх руки. Они погнались за знаменитыми Маскатто, Лью, Виглио, убили их и еще несколько конюхов, пытавшихся вступиться.

Затем исступленная толпа кинулась ко всем знаменитым сеятелям веселья и радости. В Театре Мутен толпа линчевала двух артистов, великий национальный комик Клякен-Годено был повешен перед дверью мюзик-холла, в котором он пел.

Подобные же факты имели место в больших провинциальных городах. Солдаты стреляли в толпу, толпа в солдат. Желтый Смех и уверенность в неизбежном конце рождали в обоих лагерях подлинный героизм. Ненависть, в конце концов, понятная, овладела людьми. Простая любезная улыбка вызывала револьверные выстрелы, и в рядах мятежников происходили убийства.

— Таким образом, — сказал нам офицер голосом, выражавшим покорность судьбе, — избиение клоунов, комиков и юмористов продолжается в большом масштабе.

С час тому назад он видел знаменитого Сент-Бреби, этого веселого писателя, в одной рубашке несущегося за автомобилем, как школьник, преследуемого кошмарными воплями толпы, во что бы то ни стало хотевшей содрать с него кожу.

— У нас не хватает сил, — заключил офицер, — провинция, предвидя революцию и бойню, бережет свои гарнизоны. И всюду то же самое, за границей... везде. Сегодня утром трое глав государств умерли от смеха в своих постелях. Телеграммы не опубликовали,... но, не правда ли, вы сами понимаете, что теперь нет больше тайн. Я остаюсь на своем посту, а затем пусть пулю в лоб... то, что уже сделал военный губернатор... Всего хорошего...

Офицер по-военному сделал оборот и исчез в маленьком, слабо освещенном кафе, где несколько хирургов, без пиджаков, в белых фартуках, сидели с покорным видом, скрестив руки.

Мы покинули эти опасные места, заняв покинутый таксомотор. Мушабёф умел управлять машиной, и мы поехали по направлению к Отейу. Проезжая по площади Этуаль, мы увидели под Триумфальной аркой качающееся на конце веревки тело. Ноги повешенного были на расстоянии четырех или пяти метров от земли.

Мы с ужасом убедились, что это было тело знаменитого Вомистика.

Глава пятая

НА ДОРОГЕ

Мушабёф остановился у дверей своей квартиры на улице Лафонтена. Он провел меня в свою комнату, где мы переоделись, так как одежда, что была на нас, совершенно не годилась для той длительной и трудной службы, которая от нее требовалась.

Во мгновение ока, мы преобразились с ног до головы: фетровая шляпа, кожаная куртка, брюки для верховой езды, обмотки, прочные охотничьи сапоги из желтой кожи. В солдатской сумке, перекинутой через плечо, были — мыло, гребенка, револьверные пули, полотенце. Взяв каждый по палке с железным наконечником, мы ушли, даже не заперев двери, покидая без сожаления медную кровать, шкаф, библиотеку и домашних богов Мушабёфа.

Такси все еще стоял внизу и имел такой покинутый вид на этой спокойной улице, что казался столь же трогательен, как ньюфаундленд, бросающийся в воду спасать ребенка.

— Странная вещь таксомотор, — вздохнул мой приятель, — мне кажется, что я никогда не видел таксомотора. Я уже от всего отвык, дружище, у меня такое чувство, будто никогда не было ни железных дорог, ни телеграфа... В сущности, прогресс, видишь ли, чепуха. Случается необычная катастрофа и без всякой неожиданности возвращает нас назад на несколько веков. Кажется, Достоевский сказал, что особенность человека — привыкать ко всему. Клянусь честью, это так. Что касается меня, то я убежден, что я всегда жил охотой, с револьвером или высеченным из камня топором в руке, хотя я все-таки предпочитаю возвращаться в прошлые времена с хорошим шестизарядным «Смитом» в кармане.

Он завел захрипевший мотор; мы сели.

— Поедем в этом старом рыдване, пока хватит бензина, а там пустим в ход наши сапоги.

Мы выехали набережными на Версальскую дорогу.

Нас обгоняли, полным ходом, гоночные автомобили с сильными прожекторами, бросающими лучи ослепительного света, другие — с простыми фонарями — скромно держались края дороги.

Когда мы проехали Вирофлэ, горизонт позади нас изменил окраску засветившись рыжими отблесками. Я смотрел в сторону Парижа. Небо пылало, как на заре. Золотистые искры испещряли облака дыма. Это был пожар! Конец всего, извечный результат революций.

— Недурная идея, — сказал Мушабёф... — Пахнет горящим лесом, я люблю этот запах.

Мы проехали Версаль, загроможденный фурами для перевозки имущества и автомобилями, нетерпеливо дающими гудки, требуя освобождения дороги. Подъехав к площади перед дворцом, наш такси вздрогнуло и остановилось, заупрямившись, как осел.

— Больше нет бензина, — сказал я, — мы можем взяться за наши палки!

Мы попрощались со старым такси, сняв перед ним широким жестом шляпы, и пошли по дороге к деревне, скорее наудачу, смутно надеясь попасть сначала в Мант, затем в Нормандию, в леса и рощи, в наиболее пустынные места нашей страны, расположенные возможно дальше от городов, зараженных знаменитым смехом.

Мы шли уже около часа, не говоря ни слова, прислушиваясь к равномерному стуку наших шагов по затвердевшей земле, когда встретили двух конных жандармов.

Эта встреча показалась нам чудовищным анахронизмом. Спросят они наши документы? Они проехали мимо поблизости от нас, один из них наклонился, чтобы лучше нас рассмотреть.

— Туристы, — сказал он своему товарищу.

Наши новые костюмы внущили ему доверие.

В дальнейшем нам не пришлось встретить ни одного жандарма.

Желание спать давало себя чувствовать. Мы пересекли только что вспаханное поле — дело было в апреле, — что-

бы попасть в рощицу, черный силуэт которой вырисовывался на горизонте. Начинался рассвет. Мушабёф посмотрел на часы — было пять часов утра.

Несколько птиц полоскали горло в ручье, чтобы прочистить голос перед ежедневной серенадой. Мы расположились лагерем, то есть легли на землю, спрятав лицо в сложенные руки. Сон не приходил; вместо этого нас мало-помалу начал пронизывать холод, и мы не замедлили понять, что при таких условиях отдых невозможен.

— Нужны были бы одеяла, — пробормотал Мушабеф, — здесь замерзаешь.

— Разведем огонь.

Стали ломать ветки. Но деревья были мокрые от росы; пришлось оставить эту мысль, и мы философски вынули трубки.

— У тебя есть табак? — спросил приятель.

— В мешке у меня семь пачек.

— Отлично, у меня — десять. Это неплохо, но, дружище, нам все же придется накладывать руку на все, что может заменить табак; в ближайшем будущем табак совершенно исчезнет. Мне совершенно безразлично, увижу ли я поезда и шестиэтажные дома, но, черт возьми, я не мог бы жить без табака!

Мы уснули днем, когда раннее весенне солнышко ревниво пригревало нас, словно прекрасные овощи, выросшие на приволье. Потом мы позавтракали хлебом и колбасой и снова взялись за палки, углубляясь в природу, покуривая трубки и забыв уже о желтом смехе, об избиении клоунов, о пожаре Парижа.

Мушабёф воображал себя на маневрах и не пропустил ни одной песни, что пелись в его полку. Других он не хотел слушать, все они казались ему неинтересными. Он угостил меня и чудесной историей о папаше Дюпанлу, этом французском Карагезе, и о супружеских несчастьях мельника, и о том, как «жила на свете прачка».

Восемь дней мы шли, ночуя в лесах, проходя через покинутые, большей частью, селения.

Эти пустынные деревни нас очень удивляли; мы не могли объяснить себе, почему жители покинули свои жилища.

— Не может быть, чтобы они все вымерли, — говорил мой друг, — иначе остались бы какие-нибудь следы этого.

В окрестностях Эврэ мы вошли в маленькую деревенку, тоже пустынную. Только один домик, казалось, возвещал о присутствии человеческой жизни — легкий султан дыма кокетливо вырывался из его красной кирпичной трубы.

Калитка в сад была полуотворена. Я вошел первым, без церемоний, и на повороте аллеи мы встретили старого господина в белом тиковом костюме, очень озабоченно осматривавшего шпалеры деревьев и с крайней осторожностью ощупывавшего молодые почки.

Услышав шум шагов по гравию аллеи, он повернул голову и молча посмотрел на нас. Затем, машинально подергивая остро подстриженную бородку, спросил:

— Что вам угодно?

— Сударь, — ответил Мушабёф, — мы не злоумышленники, мы несчастные путешественники, бежавшие от эпидемии. Вы, вероятно, слышали о Желтом Смехе?

— Да, да, — ответил старик, — так это правда?

— Увы!

— Отсюда все уехали недели две тому назад. Со всех сторон крестьяне направились в город, покинув свои селения, услышав, что в больших центрах вспыхнула революция. С тех пор никто не возвращался.

— Это безумие, это архи-безумие, — завизжал Мушабёф, — чего ради бросились они в самый очаг заразы?

— Алчность, — ответил старик, лаская склонившуюся ветку цветущей яблони, — алчность. Когда они узнали, что в городах идет грабеж, они пожелали участвовать в поживе, получить свою часть добычи. Для них город ведь всегда был несгораемым шкафом, полным богатств. Парижанин всегда означало для них то же, что богач. Если вам когда-либо случалось проводить каникулы в деревне, вам должна быть известна их жадность. Они вносят искусство в обидание горожан.

— Так все обитатели этого селения уехали в Париж? — спросил я.

— О, нет, о, нет! Париж не центр для нас. Они отправились грабить Эврэ и, главным образом, Руан.

Я схватился за голову.

— А моя мать! — пробормотал я.

— Твоя мать с кузиной уже должны быть в деревне, это — наверняка.

Но беспокойство не покидало меня. Я не разделял оптимизма Мушабёфа. Мы все же решили достичь Руана, отдав должное обеду, которым угостил нас этот добрый старик.

Впервые после нашего отъезда из Парижа мы жили, как прежде, в прошлые времена.

На круглом столе розовый абажур лампы золотил тарелки. На длинном блюде дымился омлет со шпиком. На скатерти, вытянувшись в ряд, стояли бутылки вина и сидра; красовался паштет из утки, похожий формой на прочный приземистый нормандский буфет, блестевший в тени столовой.

Нашего хозяина звали Робинэ, как он нам сообщил. История с Желтым Смехом не казалась ему очень важной, ибо ужасное бедствие не затрагивало ни цветов, ни плодовых деревьев. Как и раньше, он продолжал обрабатывать свой сад. Этот счастливец предложил нам кровать для ночлега. И мы установили, что в кровати спится лучше, чем под открытым небом, и торжественно поклялись спасти из кучи развалин хотя бы этот приятный отброс старого времени, если только судьба дарует нам жизнь.

Первое пение петуха — наши пожитки сложены, палка в руке, и мы покидаем доброго старца и его служанку. Долго, долго виднеется домик с зелеными ставнями — мы на минуту закрываем глаза, желая сохранить в своем воображении это чарующее видение, чтобы позднее отвести на нем душу, — ведь теперь мы рассматриваем наши воспоминания, как книгу с картинками.

Пройдя перекресток, мы наткнулись на опрокинутую повозку. Она была пуста, а в оглоблях, задрав все четыре ноги, валялся лошадиный скелет, начисто обглоданный. Не-

много дальше, в канаве, лежал труп человека, наполовину изъеденный, прикрытый синей блузой. Обнаженные десны, раскрытый рот убедили нас в том, что здесь проходил Желтый Смех.

— Он возвращался из Руана, — вздохнув, промолвил Мушабёф. — Все они кинулись в города, как говорил старик, и дрались там, как волки, у банков... и затем принесли с собой болезнь. Вся дорога теперь, вероятно, изобилует подобными картинками, пойдем лесом. Люблю аромат леса, там пахнет листвой и шерстью вымокшей собаки. Вон там, видишь, лес, — если пересечь его на северо-восток, мы не отклонимся от направления к Руану.

Мы сделали еще несколько шагов по дороге, когда какое-то подозрительное черное пятно, преграждающее путь по шоссе на расстоянии сотни метров, вынудило нас пойти, не размыкая, напрямик полем, чтобы добраться до дубовой рощи.

— Было время, — сказал Мушабёф, — когда мы все же находили какое-то убежище.

Едва он это произнес, как внезапно, без всякого предупреждения, полил дождь. Ветви и листья защищали нас недолго, и вода не замедлила потечь по нашим кожаным курткам.

Шалаш угольщика появился перед нами, как знак провидения. Прижавшись друг к другу, мы прислушивались к шуму дождя, меланхолично посасывая наши трубки, следя рассеянным взглядом за дымом, отгоняемым ливнем.

Чтобы внести некоторое разнообразие в наши развлечения, мы закусили. Уходя от старика, мы обнаружили, что мешки наши пополнились: холодная курица, бутылка бургундского, хлеб, сыр.

Журчание ручейка бесконечно приятнее, и музыка эта, по крайней мере, раза в три божественнее, когда желудок полон. Дождь покрывал рябью лужи, каждая капля его отскакивала в форме колокольчика, а ветер гнул ветви с шумом комкаемой бумаги.

— За здоровье старика! — объявил Мушабёф, поднося к губам горлышко бутылки.

Я сделал то же самое. А затем, прислонившись плечом к плечу, мы погрузились в дремоту. Я очнулся первым и вышел из шалаша. Было уже совсем темно, дождь перестал.

— Эй! — крикнул я, встряхивая приятеля.

Он встал, тоже вышел из шалаша, потянулся, потрептал суставами и закурил трубку.

— Плохо, что стало темно, мы рискуем заблудиться.

— Нет, мы не съебемся с дороги, у меня на часах компас. — Он взглянул на него. — Вот направление... надо идти все время прямо. В дорогу!

Не знаю ничего более неприятного, чем хождение по лесу ночью. Наши сапоги на каждом шагу скользили по мокрым камням; мы рисковали сломать себе ноги, а когда мы ступали в какую-нибудь непредвиденную яму, почва, казалось, ускользала из-под ног, вызывая неприятное ощущение, напоминающее то, которое испытываешь в лифте, когда машина начинает спускаться. Мокрые ветви, одна за другой, как бы забавляясь, хлестали нас по лицу. Во всех концах, в непроницаемой тьме зарослей, какая-то таинственная жизнь давала о себе знать то потрескиваниями, то легкими шорохами, то мягкими падениями, то тяжелым взмахом крыльев какой-нибудь близорукой птицы.

Мушабёф — он шел впереди — начал свистеть.

— О, нет, совсем тихо, без фанфар... Что-нибудь другое.

— Тебе страшно?

— Нет, дружище. Почему?

— Почем я знаю, этот таинственный лес, тоска, одиночество...

— Клянусь честью, в лесу мне никогда не бывает страшно.

— Так же, как и мне. Ночью и в лесу я боюсь лишь одной вещи, — заметил Мушабёф, — человека. Но сейчас я спокоен: грабят не здесь. В последние дни, люди должны были прийти к заключению, что бесполезно опустошать карманы и убивать с целью грабежа.

— Я того же мнения, мой друг, но, по правде говоря, отдал бы остаток всего бургундского, чтобы найти тропинку, настоящую тропинку, нечто заботливо расчищенное, прек-

расную аллею, например, хотя бы в английском парке...
Мои ноги отказываются служить.

— Который час?

— Одиннадцать, — ответил Мушабёф, испортив две или три спички, чтобы осветить часы.

— Ну, тогда идем скорее; я хочу только одного — поскорее прийти в Руан.

Мы шли почти наугад, ощупью, шагая через кусты и стволы деревьев свежей рубки; каждые пятьдесят метров нам приходилось смотреть на компас, ибо, желая избегнуть препятствий, мы фатально отдалялись от верного направления.

Голова моя была пуста; я ни о чем не думал, всецело поглощенный тем, что отстранял ветви или нашупывал почву железным наконечником палки.

Так мы шли час или два, затем остановились прикончить бутылку старого вина.

Снова пошел дождь. Мрачное уныние просачивалось в нас, как этот мелкий дождь сквозь одежду, проникавший за ворот куртки и в рукава.

— Слышишь? — сказал мне Мушабёф, меланхолично посасывая набалдашник своей палки.

— Что?

Он прислушался.

— Это ветер! Какой ветер, черт возьми, какой ветер!

До слуха донесся какой-то отдаленный ропот, неясный шум, трудно различимый, но очень сильный, нечто вроде рева моря, насколько можно было судить на далеком расстоянии, или, точнее — шум зрительного зала, внезапно услышанный сквозь раскрытую на мгновенье и тотчас захлопнутую дверь.

Это сравнение напрашивалось невольно, так как странный шум вдруг резко оборвался во всей силе, чтобы возобновиться через несколько минут в том же месте.

— Это не ветер, мой дорогой Мушабеф — ветер нарастает и спадает постепенно. Это нечто другое. Что — я не знаю. Может быть, это негодующий голос игуанодонта, защемившего дверью свой хвост, быть может, это справед-

ливый протест всей природы против отвратительной извращенности этого дьявольского леса, но, во всяком случае, это не жалоба ветра в деревьях.

— Да, это не ветер. Ты прав. Это нечто такое, что я не могу себе объяснить... С некоторых пор я раскрыл немало фактов, которых не могу себе объяснить. Во всяком случае, это ужасно раздражает. Признаться, я не очень-то долюблю этот род ночных и торжественного беспокойства.

— Пойдем, Мушабёф, посмотрим, это как раз по пути.

— Ну, я не совсем с тобой согласен, — ответил приятель.

— Ведь мы живем в удивительное время, и я нисколько не удивлюсь, если увижу вылезающей из болотной тины целую толпу гигантских, отвратительных игуанодонтов,* о которых ты говорил. В этом случае я позволяю себе беспокоиться о последствиях подобной встречи. Худо ли, хорошо ли, расположимся здесь до утра и уж тогда начнем действовать.

— Ах, нет, нет, мой друг! Я вовсе не хочу оставаться в этой клоаке. Здесь нас подстерегает бронхит, я уже чувствую, как мои легкие свистят, словно продырявленная гармоника. Здесь — смерть, без венков и без речей... Там — я не знаю что, но мы увидим...

— Пожалуй, что так! — ответил Мушабёф, решившись.

С предосторожностью разведчиков на прифронтовой полосе пробирались мы по лесу к месту, откуда, казалось, исходил шум. Чем больше приближался шум, тем внимательнее мы прислушивались, все еще не умея себе объяснить его происхождение.

В течение двадцати минут ничего не было слышно; мы прилегли на землю, затаив дыхание, не произнося ни слова.

Затем снова необъяснимый «шум» заставил нас вздрогнуть. О! просто озноб. Казалось, «шум» несколько ослаб и раздробился на части.

* Игуанодонт — огромное пресмыкающееся, ископаемое в меловых месторождениях.

Мы двинулись вперед; приятель мой вынул из кармана револьвер, я поспешил последовать его примеру. Довольно глубокая канава преградила нам путь, нужно было ее перейти. Мушабеф спустился первым, осторожно пробуя почву палкой.

— Иди осторожно, — шепнул он, — здесь очень глубоко.

У меня под ногами сорвался камень, я поскользнулся, упал на спину, попав в жгучую крапиву. На лицо прыгнуло что-то мягкое и холодное, как комок грязи, может быть, жаба. Я основательно выругался. Мушабеф, цел и невредим, был уже на той стороне и протянул мне палку, за которую я ухватился.

— Поменьше шума, — сказал он тихо, — я вижу что-то... человек, на коленях, за деревом... он, наверное, слышал, но не двигается.

С помощью его палки я, наконец, выбрался из рва.

Перед нами расстилалась маленькая лужайка с двумя-тремя деревцами и позади самого большого из них вырисовывался неподвижный, без сомнения человеческий силуэт, слабо освещенный лунным лучом, старающимся пронзить черные облака, загромоздившие небо.

— Человек, конечно, — сказал я, задыхаясь, — подойдем осторожно, обогнув лужайку. Во всяком случае, если он нас и слышит — это неважно, это человек, человек, как и мы, а у нас при себе два револьвера с двенадцатью пулями.

Последний довод ободрил нас не хуже всякого подкрепляющего средства. По правде говоря, мы не боялись, мы совершенно не боялись. Особенно Мушабеф — он совсем не был склонен подчиняться воображению. Между тем, мы бы предпочли увидеть перед собой дуло ружья, семь штук тесаков за поясом или одного из этих старых, классических бандитов в остроконечной шляпе, в бархатной тужурке, с эспадрильями на ногах.

Когда мы, выйдя из леса и обогнув лужайку, приблизились к деревьям, Мушабеф даже рискнул посмотреть сквозь ветви одним глазом.

— Это грифтон, — прошептал он.

То был солдат — он стоял на коленях с мешком за спиной, рядом в траве блестело дуло ружья.

Луна, рассудив вполне правильно, теперь зверски освещала лужайку, — я увидел под козырьком фуражки солдата его совершенно бесплотное лицо: две черных дыры и белые зубы, оскаленные в столь знакомой мне усмешке. Меня с ног до головы пронизал холодный пот. Мушабёф, с напряженной шеей, со стиснутыми челюстями, вспотел от испуга. Скача, как зайцы в день начала охоты, мы кинулись вперед, наугад, спотыкаясь о корни, оставляя на кустах цветы из нашей кожи, ударяясь о деревья, которые в знак протesta окачивали нас ледяным душем. Так мы бежали минут десять, преследуемые страхом. Вдруг, совершенно неожиданно, лес выбросил нас, запыхавшихся, обессиленных, на большую дорогу, совершенно белую, прямо к верстовой столбе, на котором была надпись: Руан, 57 километров.

— Нет, я, кажется, никогда не привыкну к этому... к этим шуткам, — пробормотал Мушабёф, когда мы немного отдохнули. — Я согласен на одиночество... пусть никого не будет на земле... да, никого... никаких останков... вроде этого.

Мы съели шоколад, остаток наших запасов, выпили старой водки, которой славный садовод так заботливо наполнил наши дорожные фляги.

— Теперь полегче стало! — простонал Мушабёф, откладывая флягу.

— Да, этот проклятый тип может похвастать, что заставил нас побить все рекорды в беге на километр. Я никогда не думал, что я такой проворный: какой бы из меня вышел отличный игрок в футбол!

Луна освещала дорогу, которую нам указывал верстовой столб.

Оправившись от волнения, мы пустились в путь и с наслаждением, которого нельзя передать, закурили трубки.

— Нам осталось еще 57 километров и мы в Руане. Идя ночью и отдыхая днем, мы сможем прийти послезавтра, к вечеру.

— Я совершенно изнурен, — сказал я.

— Еще два часа, Николай, и начнет светать, тогда мы поспим, дружище.

Едва он произнес эти слова, как снова раздался тот необычайный шум, что мы слышали в лесу, теперь уже ближе, всего в каких-нибудь 150 метрах перед нами, справа.

Изгиб дороги скрывал от нас горизонт. Под действием алкоголя, которым мы несколько злоупотребили, мы пошли гимнастическим шагом, спеша пройти поворот; в нескольких сотнях метров от дороги, прямо через поле, мы увидели высокий забор, которым было обнесено нечто вроде города из досчатых бараков.

В этом городе без освещения царило молчание. Мы с трудом двигались, увязая во вспаханной, разбухшей от дождя земле.

У ворот деревянного города возвышался большой барак, на нем — флаг, цвета которого мы не могли различить.

— А вот и свет!

Крик вырвался у нас обоих одновременно из груди. Свет в этой ночи! Можно было заплакать, броситься на колени от радости, благодаря Создателя. Я думаю, что даже волхвы не приветствовали столь радостно звезду на небе в Иудее.

Боязнь ошибки вернула нас к осторожности, и мы с револьверами в руках подошли к зданию, всего одной лампой стерегущему свой забор, как вход на каторгу.

Когда мы приблизились, чей-то голос крикнул:

— Стой! Кто идет?

Из мрака высунулся штык; тотчас, вслед за ним, появилась фигура пехотинца, освещенного полосой света, — одна из дверей здания открылась, бросая на землю сноп желтого света.

К солдату присоединился какой-то человек; в руках у него был фонарь, отбрасывающий на землю гигантские тени в форме андреевского креста.

— Кто вы такие?.. Вы из Руана, а конвой?.. Черт возьми... Мы ждем его уже восемь дней!

— Господа, — ответил Мушабеф, — мы — журналисты, бежавшие из Парижа... Мы заблудились и умираем с голоду.

Человек с фонарем приближался. Он был в форме военного врача, с четырьмя галунами на кепи.

— Ну, добро пожаловать, сейчас вам подогреют грот, вы, должно быть, измучились... Какие новости оттуда? Вот уже восемь дней, как мы никого не видим... Восемь дней, как мы здесь, в этом аду, в этом кошмаре, не имея никаких вестей извне. Но пройдите же сюда.

Мы прошли в барак; в это время снова раздался этот ужасный шум, настоящий гром, дьявольский смех десятка тысяч людей в зрительном зале.

— Знаете, что это такое? — сказал доктор, покосившись на нас... — Их семь тысяч там, больных... Семь тысяч, впрочем, это не совсем так, потому что, по моему мнению, две тысячи, по крайней море, погибли в течение этих дней... У меня почти нет больше ни санитаров, ни солдат, а разложение должно прогрессировать очень быстро.

Смех раздался снова, раздробился, несколько одиноких взрывов закончились кашлем.

Мы заткнули уши, доктор провел нас в свой кабинет. В камине потрескивали дрова. Мушабёф, повеселевший, грелся у камина, растопырив руки в полнейшем блаженстве. Я рассказал вкратце нашему хозяину о последних событиях, свидетелями которых мы были.

— Да, совершенно ясно, — сказал он, вздохнув, — всем нам пришел конец, нечего скрывать. Люди изничтожают друг друга как в Париже, так и в Руане. Все большие города — добыча ужасного, смертельного безумия, и теперь я великолепно уясняю себе, почему мы сидим без провианта и почему команда охраны не пополняется. Что прикажете мне делать с моими больными? Они дохнут с голоду и перегрызут друг друга, если это уже не случилось. Я больше не осмеливаюсь входить в барак, куда месяц тому назад свалили первые жертвы в надежде остановить болезнь. Если бы у меня было достаточно людей и патронов для всей этой скотобойни, я бы всех перестрелял, что было бы более человечно и более логично, так как мы бессильны бороться с этим идиотским смехом. Непонятно, почему безумный смех, овладевающий кем-нибудь без всякой причины, передается

окружающим... Хотите провести здесь день?.. К сожалению, я могу вам предложить очень немногое: бисквит и ром; но, поверьте, это от чистого сердца... Вы понимаете, вы, быть может, последние, кому мне придется пожать руку...

Мы согласились остаться и легли в углу, на груде одеял. Мы были совершенно разбиты и спали, как скоты.

Около полудня нас разбудил ружейный выстрел. Я вскочил.

— Я не останусь здесь, дорогой мой Мушабёф. Нет, ни за что на свете!

— Бежим, — ответил он.

Мы прошли через дверь лаборатории, выходящей в лес. Едва очутившись наружу, мы побежали из всех сил, не оглядываясь, и бежали до тех пор, пока не достигли опушки леса, где решились броситься ничком на траву, насторожив уши и устремив взгляд на лагерь.

Сухо потрескивали лебели. Каждый выстрел настигал нас, как пощечина, а к этому прибавлялся ужасный и хорошо знакомый звук смеха больных, и все это происходило в солнечное утро, напоенное щебетаньем птиц и дивными шумами.

— Больные атакуют пост, — пробормотал Мушабёф, — это было неизбежно. Да не все ли равно, сдохнуть ли с голоду или умереть от смеха — результат один и тот же.

Так как никто нами не интересовался, мы покинули место побоища и направились по дороге в Руан, на этот раз без всякого страха.

* * *

Взойдя на холм Бонсекур, возвышающийся над городом, мы свободно могли созерцать мрачным и полным ужаса взором картину опустошения и разрушения.

С точки зрения истории, это зрелище заслуживало того, чтобы его созерцали и судили о нем несколько возвышенено. Перед нами, у наших ног, с точностью какой-нибудь ил-

люстрации современного романа, расстипалось изображение конца света. В сущности, не так трудно представить себе эту картину. В наше время многие художники изошьрялись в изображении конечного катаклизма в различных видах, в зависимости от их воображения: потоп, пожар, холод, столкновение с кометой и т. п.

Журналы по несколько раз в году показывали нам подобного рода зрелища. Руан с черными от огня остовами домов, с опрокинутыми трамваями, с жителями, валявшимися на шоссе вверх животом, являя собой торжественно-унылую картину, которую все же легко можно себе представить. Но что нас совершенно лишило сил, довело почти до обморочного состояния Мушабёфа и меня, это то, чего не могли изобразить журналы: молчание.

Чудовищное, давящее молчание — такого чувства мы никогда не испытывали раньше — нависло над природой. И затем приторный запах гниющих цветов поднимался над этой огромной свалкой трупов, где тысячи и тысячи плотоядных птиц совершили свои трапезы. В этот год галки и вороньи растолстели, словно тыквы. Из их клювов воняло на расстоянии двадцати шагов, и от них несло падалью так же естественно, как роза пахнет розой.

Преисполненный отвращения, я выстрелил несколько раз в стаю ворон, которые с насмешливым видом важно сидели в нескольких метрах от нас и нагло и неделикатно двигали головой, словно подкарауливая наше мясо.

Выстрелы разогнали ворон, и Мушабеф, возмущенный, кричал им вслед, бросая в них камнями:

— Убирайтесь, свиньи, пачкуньи! Ослиные задницы!

Вороны потерялись в небе, затем снова появились, плавно опустившись на город.

Я сидел на траве, подперев руками щеки, предавшись полному унынию: для отчаяния у меня уже не хватало нервов. Мать умерла, Алиса и ее муж — тоже, все мои близкие умерли вот там, в каком-нибудь из этих разрушенных домов — сквозь огромные расщелины стен которых были видны на кусках стен черные следы каминов и обои с цветами, которыми некогда были оклеены комнаты.

— Нам надо погрузиться в лоно природы, — сказал Мушабёф без малейшей веселости в голосе. — Мы можем жить охотой, рыбной ловлей; построим себе дом из стволов деревьев. Будет не хватать женщин, это верно, но не следует отчаиваться. Они не могли все погибнуть и, быть может, мы встретим еще их по дороге. Я имею основания думать, что семья невесты проявит малую требовательность в отношении наших средств.

Это будут благословенные времена браков по любви, сын мой, и в то же время здоровый удар для суфражисток. Если еще и останутся какие-нибудь из них, что меня несколько не удивило бы, им придется спрятать свои идеи в карман и прикрыть их сверху платочком.

— Как ты думаешь, Мушабёф, — прервал я, — мы не спустимся в город? Чума, тиф, холера и не знаю какие еще эпидемии ждут нас у заставы. Пойдем вдоль Сены, к ее лиману. Мы расположим наш временный лагерь в лесу, там, так как в настоящую минуту с меня довольно шатанья по всем этим кладбищам. Я чувствую потребность подышать немного свежим воздухом, послушать свист дроздов, посмотреть, как прыгают зайцы. Дорогой постараемся раздобыть охотничью ружью и патроны, ведь не можем мы рассчитывать всерьез на возможность ловить зайцев па скаку или бить куропаток из лука. Не мешает также положить в наши мешки несколько бутылок вина, рома или еще чего-нибудь. У меня так высок язык, что достаточно одного луча солнца, чтобы зажечь его.

Мы снова пустились в путь. Час спустя, проходя через одно из предместий Руана, Сен-Север, кажется, мы могли себе представить последние минуты этого старого нормандского города.

Все улицы, все площади были усеяны трупами, валявшимися то тут, то там целыми грудами, в смешных позах сломанных паяцев. Желтый Смех обнажил им десны и зубы; жирные мухи жужжали вокруг открытых ртов, и обнаглевшие крысы опрометью неслись к пиршествам, не имевшим названия. Так как была весна, волк покрывал большую сукку, восстанавливая таким мезальянсом свой род, готовый

совсем исчезнуть. Хищных птиц, особенно ястребов, было множество; я никогда не видал их в таком количестве. Цепи, которыми цивилизованный человек окружил природу, уже лопались со всех сторон и как попало — сорные травы братались с хорошими, а некоторые породы животных, совершенно исчезнувшие, снова восстанавливались и бросались на завоевание городов во славу торжествующих джунглей.

— Нам следует вооружиться, — настаивал я. — Через год, самое позднее, волки сильно размножатся. Мы очутимся перед фауной, питавшейся до отвала человеческим мясом и особенно свирепой. А когда отведаешь приятное блюдо...

— ...то снова требуешь его, — закончил Мушабёф, — и когда у этой сволочи не будет больше мертвецов, они бросятся на живых.

В Сен-Севере, недалеко от большого здания школы, мы обнаружили оружейную лавку. Мы взяли себе, каждый, по автоматическому карабину системы Винчестера и наполнили карманы и мешки патронами с пулями и дробью.

— Мы еще вернемся, — сказал мне Мушабёф, — сейчас надо — создать центр, крепость, надежное место, где мы могли бы сосредоточить все наши богатства. Если мы найдем лошадь и повозку, мы спасем от гибели все, что нам нужно... Да, если мы найдем лошадь, — он вздохнул, — и женщину. Никогда в жизни мне не хотелось так семейной жизни, туфель и супа... Что касается туфель, я думаю, можно будет еще надевать их в пещере, так как я не считаю себя решительным сторонником соблюдения всех характерных черт обстановки и не собираюсь облачаться в звериные шкуры изуважения к поэтичности положения.

Направившись на запад, мы дошли до Сены.

Ее грязные зеленые воды, казалось, доиста прополоскали лавку старьевщика или мертвецкую.

Мебель, почти совершенно разложившиеся животные, необычайно вздувшиеся мужчины, лысые женщины, — все это плыло по течению в непристойном беспорядке.

Свинцовое солнце — становилось очень жарко — варило этот тошнотворный суп и в то время, как я созерцал всю

эту клоаку, где прежняя человеческая жизнь катилась, как отступающее войско, мне пришли на память, ничуть меня не утешая, стихи Кольриджа:

Сама бездна разлагалась! О, Христос,
Возможны ль когда-нибудь подобные явления?
Да, существа из тины, с лапами, кишели
В этом море тины.

Глава шестая

ПРИНЦ ГАМЛЕТ

Закончив работу, мы решили, что бесформенная хижина, которую мы только что выстроили у входа в пещеру, нависшую над Сеной, будет одновременно и нашим частным жилищем и столицей нового мира, будущее которого зависело от нас и от какой-нибудь девицы, которую случай пожелал бы направить в наши владения собирать ландыши.

Во всех романах приключений автор как можно дольше заботливо избегает вводить женский элемент.

Однако содержать женщину на бумаге — не так-то трудно! Владеть на пустынном острове скорострельным ружьем — великолепно, создать себе комфортабельное жилище из предметов, подобранных на потерпевшем крушение корабле — это еще лучше, найти какой-нибудь чудесный плод, заменяющий одновременно шпик для омлета, масло для супа и суп по праздничным дням — это верх блаженства. Все это встречается в изобилии в романах приключений. Единственно, что не встречается — это женщина. Женщины не могут жить на необитаемом острове; на потерпевших крушение кораблях не встречаются молодые девушки или они предпочитают скорее утопиться, нежели следовать за своими спутниками в обетованную землю.

Этим объясняется — у меня было время пофилософствовать на эту тему — этим естественно объясняется меланхолия, овладевающая потерпевшими кораблекрушение путниками к концу двух недель, проведенных среди избытка и свободы. В деревне, кроме чтения газет, любовь — это лучшее, что нашел мужчина, чтобы убивать время. Мы жили в деревне — и предстояло жить еще несколько лет — у нас не было ни газет, ни женщин, и наше единственное развлечение состояло в попытке восстановить драгоценный

способ добывания огня путем трения одного куска дерева о другой.

Особенно страдал Мушабёф. У него было слишком много вкуса, чтобы признаться в этом, но я читал в его глазах, что он тоскует по барам, по ночным кафе, по девицам в больших шляпах, по комнатам в гостиницах, пахнущим рисовой пудрой, мочой и колбасными.

Он пропадал целыми днями, с трубкой в зубах, с «мартини» под мышкой, в поисках какой-нибудь дичи, которую он любил себе представлять в хорошенькой блузке, в немного короткой юбке, башмаках на высоких каблуках, — в полном снаряжении проститутки, вышедшей на заработок.

Я сочувствовал ему, методично разбирая коробки с консервами, пачки табака, винные и ликерные бутылки, муку, платье, охотничье припасы и т. д. — результаты систематического грабежа, производящегося в Пон-Одемере, городе, отныне опустошенном.

Будучи созерцательным по природе, отучив себя, за пять лет пребывания в легионе, от излишков энтузиазма, делающего молодость неосторожной, я забрасывал удочки и ставил верши для ловли угрей, щук и уклеек. Иногда я брал ружье и, спустившись в долину, бродил по лесу один, не осмеливаясь направляться в сторону прежних городов.

Как и следовало ожидать, одиночество вынудило нас искаль вине тот род утешения, при помощи которого человек позволяет себе жить воображаемой жизнью.

Напившись до отказа виски, рома и этого ужасного кальвадоса, который горит у вас в голове, как плошка во время иллюминации, мы целыми часами рассказывали друг другу, икая, вымышенные истории. При таких обстоятельствах Мушабёф поведал мне, что некогда он разорился ради одной известной актрисы, что, как я знал, было неправдой, так как отец Мушабёф и его сын всегда жили, удерживая равновесие на краю той пропасти, что называется: нищета. Но я соглашался с моим другом, я даже приводил некоторые доказательства в пользу того, что он утверждал, и когда наступал мой черед, я с горечью поверял ему, что служил прежде мичманом на одном казенном судне. Муша-

бёф знал, что я вру, знал также, что и я не верю его рассказу, и, между тем, простер свою любезность до того, что припомнил, будто видел меня в Париже в морской форме. Он называл мне имена, числа, некоторые случайности и тогда мы снова наполняли стаканы и чокались с трогательной, несколько грустной важностью пьяниц.

Напившись, мы засыпали, как скоты, растянувшись на полу нашей лачуги.

* * *

Таковы были наши развлечения. Мы больше не думали о Желтом Смехе; впрочем, ничто не напоминало нам об этом ужасном бедствии. Было лето. Свистели, как уличные мальчишки, птицы, свирепо блеяли дикие бараны, гоняясь за овцами меж кустами колючего боярышника.

Подобное зрелище, могущее очаровать Титира или какого-нибудь сантиментального пастушка со свирелью, не служило нам утешением, умиротворяющим наши желания. Бараны, ягнята, их матери, их дяди-бараны, их тетки-овцы — не на шутку действовали нам на нервы; мы посыпали им приветствия в виде пуль, которые никогда не попадали в цель, так как эти проклятые четвероногие были столь же быстры, как беговая лошадь после допинга. Они убегали.

Впрочем, все удирало от нас, и вовсе не так просто, как воображают, добывать себе свежую дичь. Предшествующая эпоха сделала этих травоядных животных более недоверчивыми и хитрыми, нежели были их предки.

Я был также посмышленее моего друга. Я жил в Бледе жизнью, несколько напоминающей мою теперешнюю жизнь, и научился обращаться с ружьем. Мушабёф был полезен лишь для кухни; он ежедневно ходил за водой к небольшому источнику, довольно отдаленному от нашего жилища, вливал воду в бидон и всегда утверждал, что это дело ему внушиает отвращение.

Однажды он отправился к источнику, катя перед собой нашу маленькую ручную тележку, но вернулся, сломя голову, оттуда без повозки.

— Что с тобой? — крикнул я ему издали.

Он сразу не ответил и, тяжело дыша, сел рядом со мной.

Когда он отдохнул, он стал уверять меня, что за ним гнался разъяренный бык. На следующий день я пошел с ним; мы оба запаслись ружьями и револьверами.

Наполнив бидоны, мы возвращались домой, — Мушабёф в оглоблях, я сзади.

По дороге он остановился и что-то поднял с земли.

— Что это, дружище?

— О! ничего, — ответил он.

* * *

Днем он спустился к источнику один, и со всеми предосторожностями, как бы прячась от меня. Не знаю почему, я последовал за ним, скрываясь в бузине и камышах, окаймлявших дорогу, разделявшую болото, как на пейзажах Зеланда.

Мой приятель был на двести метров впереди меня; он несколько раз останавливался, прислушивался, без сомнения, боясь быть выслеженным, и, хоть и с горестью убедившись в этом, я ощутил некий запах охоты на человека, который мне приходилось ощущать в мою бытность солдатом, когда мы предчувствовали близость «дичи».

Я не терял из виду Мушабёфа, принимал все меры предосторожности, то сгибаясь пополам, то под прямым углом, то ползя на животе по канаве.

Я прошел вслед за ним гору, какую-то покинутую ферму, затем потерял его из виду. Не желая быть замеченным, я должен был обогнать лужайку, которую он пересек, чтобы попасть в лес;

Лишь только я очутился в надежном месте под деревьями, я приложил ухо к земле, пытаясь услышать какой-

нибудь шум, который открыл бы мне местопребывание таинственного Мушабёфа.

Я был необычайно удивлен, услышав неясный звук человеческих голосов. Справа от меня, за живой изгородью из акаций и терновых кустов, находились несколько человек.

Насторожившись, как охотящаяся ласка, я подкрадывался метр за метром к месту, откуда доносились голоса, и вдруг увидел посреди лужайки двух людей или, вернее, полтора человека. Второй, как ни странен может показаться этот факт, был не кем иным, как самым знаменитым человеком-обрубком нашей эпохи: Принцем Гамлетом, — актером одного большого негритянского театра, возившего по главным городам Франции и Европы собрания доходных чудовищ.

Я узнал Принца Гамлета, во-первых, потому, что эти люди-обрубки встречаются довольно редко, а во-вторых, потому, что Принц Гамлет был в том же костюме, в который он некогда облачался в театре, чтобы восхищать толпу. Отвратительная, безволосая голова Принца Гамлета, гладкая и белая, как яйцо, покоялась в грязном кружевном жабо, очевидно, очень давно не видавшем прачки. Таким образомказалось, что голова его положена на тарелку, а тарелка, в свою очередь, стояла на обрубке, обернутом в черный бархат, запачканный грязью. Словом, Принц Гамлет, прислоненный к дереву для сохранения равновесия, походил на маленькую, цилиндрической формы печку, заканчивающуюся тарелкой, на которой стояло на остром своем конце яйцо.

Его компаньон был высокий малый, бритый, в серой фетровой шляпе, в зеленоватом костюме, в стоптанных желтых башмаках. Вместо рубашки на нем была гранатового цвета фуфайка, слишком широкий ворот которой позволял незнакомцу, подняв только плечи, прятать нос в его складках.

Этот здоровый малый о чем-то разглагольствовал, засунув руки в карманы штанов, с папиросой, приkleенной к нижней губе, насмешливо смотря на череп несчастного Принца Гамлета, который, погрузившись в мох, слушал его внимательно, растопырив уши, как два паруса.

— Какой жестокий удар! — говорил парень, картавя.

Человек-обрубок покачал головой, едва не свалившись носом в землю; товарищ водворил его на место, на этот раз позабочаясь укрепить его четырьмя большими камнями: одним спереди, одним сзади, одним справа и одним слева.

— Это должно было случиться, — продолжал человек в фуфайке, — это было неизбежно: развелось слишком много фаворитизма и жуиров. Я еще говорил это Бобу Гюстону, боксеру, когда был его тренером. В эти времена всех подмалевывали: женщин, молодчиков и пр.; было только одно роскошество везде; это все должно было полететь к черту рано или поздно.

— Это должно было полететь к черту! — повторил Принц Гамлет мрачным голосом.

— Но это к лучшему! Я предпочитаю такое положение. Теперь нет больше привилегированных. Все равны. Ты равен мне, я — тебе, и если еще найдутся в живых какие-нибудь господа, они все, как и мы, равны тебе и мне — это всеобщее равенство.

— Это равенство, — сказал Принц Гамлет.

— Все, что я имею — твое, все твое — мое. Что меня радует, так это, что все полицейские передошли, — прибавил он серьезным тоном.

— Они все передошли! — прошептал Принц Гамлет, вздохнув.

Человек в фуфайке сплюнул через голову своего полу-товарища и, не переставая слюнявить папиросу, снова начал:

— Я занимался тяжелым трудом в Англии. Это справедливо? Я сидел в одиночке в Мелунской тюрьме. Это справедливо? Ну, а теперь? Вот ты образованный, можешь ты мне сказать, где теперь все это — и работа и Мелунская яма, где все это, а? Ну ты, образованный?.. Все это... *Es ist fertig* (кончено).

— *Ja, es ist fertig*, — повторил Принц Гамлет.

— Это справедливость?

— Это справедливость, — ответил покорно человек-обрубок.

В это мгновение шум раздвигаемых ветвей заставил их

обернуться. Человек в фуфайке спрятался за дерево, в то время как физиономия Принца Гамлета выражала самую ужасную тревогу.

Тонкая рука приподняла ветку, и на краю лужайки появилась женщина, молодая девушка, в белой суконной шапочке, в белой теннисной фуфайке с зеленою каймой, в короткой юбке с крупными складками; башмаки, порвавшиеся о камни, плохо защищали ее маленькие ножки.

Она остановилась перед человеком-обрубком, приложив руку к сердцу.

Я не мог хорошо рассмотреть ее лицо, так как она стояла спиной ко мне, придя почти по той же самой дороге, по которой шел я.

Она запыхалась. Без сомнения, ее преследовал человек. Я подумал о Мушабёфе.

— Жорж Мерри! — заревел человек-обрубок. — Смотри... смотри... там... перед тобой!

Жорж Мерри вышел из-за дерева и, все еще с папиросой во рту, поклонился молодой девушке.

— Когда вам понадобятся какие-либо сведения, к вашим услугам — я, Жорж Мерри. Это я тренировал Боба Гюстона в течение двух лет перед великой болезнью... Не надо бояться... женщины — это мне знакомо... У меня их было, у меня их было...

Его взгляд затерялся в воспоминаниях о количестве этих женщин, затем он исправил свое самомнение, прошептав молодой девушке:

— Но я никогда не любил такой, как вы...

Он подошел к ней, взял ее за талию. Она склонилась, как тростник, и Жорж Мерри поцеловал ее в губы, вращая глазами.

На Принца Гамлета, зажатого в четырех камнях, жалко было смотреть; его лицо, ставшее пунцовыми, походило на лицо дьявола, погруженного в кипяток. Он хотел говорить, негодование душило его.

Жорж Мерри увлек за собой молодую девушку, которая не сопротивлялась. Они скрылись в кустарнике, в то время как Принц Гамлет, снова получив дар речи, ревел что бы-

ло мочи: «Жорж! Жорж! а я! а я! Это несправедливо! Я так и знал... ты — скотина!» Он так бесновался, что покатился по земле, совсем бесшумно, как раз в тот момент, когда я выскочил на лужайку. Мой сапог остановил его на пути. Взяв в охапку калеку, я поднял его и прислонил к дереву, горько сожалея, что у меня нет камина, чтобы посадить его под колпак.

Феномен посмотрел на меня с интересом.

— Откуда вы? — сказал он.

— Ax! дорогой мой, оставьте это...

— Вы знаете женщину, которая была здесь пять минут тому назад?

— Нет, — ответил я. — Это какая-то незнакомка. А Жорж Мерри, что это за тип?

— Скотина, — поспешил ответить Принц Гамлет... — Ax! Несчастная... мне ее жаль... Смотрите, со мной, она... — Он попросил вынуть из его кармана кошелек, посмотреть его на свет, как свежее яйцо, затем, понизив голос: — У меня... здесь... тысяча!

— Вы один!

Эта фраза хлестнула его по лицу, как струя горечи, если можно так выразиться.

Один! Он еще об этом не подумал!

Я сделал вид, что хочу уйти.

— Возьмите меня... — завопил Принц Гамлет, — не оставляйте меня здесь! Веселый юноша, доброе сердце, умная голова! Не оставляйте меня здесь, милый, благородный, прелестный артист, образ ангела, красавчик, слава диванов... Возьмите меня, я вас...

— Я возьму вас с собой, Принц Гамлет. Я не хочу оставить вас одного на траве — птицы склевали бы вас еще до конца лета.

Я взвалил чудовище на плечи и, раздумывая, направился по дороге к нашему жилищу, рассчитывая найти там Мушабёфа.

Хижина была пуста! Я тщетно осмотрел все углы, предварительно посадив моего товарища в старую корзину, поддержав его равновесие свернутым в комок платьем.

Мушабёф еще не вернулся.

С наступлением ночи мною овладело беспокойство. Я вышел из дома и прокричал изо всех сил на все четыре стороны, сложив руки рупором:

— Ое! ое! ое! Мушабёф! Мушабёф!

Эхо ответило: «Шабёф», и я вернулся в хижину готовить обед, предоставив судьбе заботу закончить это дело. Сидя вдвоем с Принцем Гамлетом, я подкрепился доброй бутылкой вина, причем и он принял в этом участие, как мужчина. Затем он отдал мне на сохранение свою тысячу франков, взяв с меня расписку. Смысл всей жизни Принца Гамлета заключался в отсутствии у него четырех конечностей, собеседник он был очень плохой.

В глубине души он горько сожалел об отсутствии публики — ценителей, проходящих вереницей перед его особой; он сожалел также о потере кипы открыток, изображавших его сидящим на подушке в костюме, который еще был на нем.

* * *

Мы спали ради развлечения, а когда я проснулся, первая моя мысль была о Мушабёфе, который все еще отсутствовал. Я предоставил Принца Гамлета его грезам, а сам пустился в путь на поиски приятеля.

Наступил рассвет со свежим благоуханием нормандского неба. Над лугами, над Сеной, над болотами стоял туман. Я пошел по откосам, желая сверху видеть окрестности, и размышлял о событиях прошлого дня.

Ясно, что я должен был стать между Жоржем Мерри и молодой девушкой. Но, в общем, лучше, что случилось так. Присутствие женщины в хижине предвещало распри, ссоры, борьбу, как в первые дни человечества. Я люблю и про-

должаю любить спокойствие, и поэтому, взбираясь на утесы, я окончательно успокоился, находя, что если роль моя во всей этой авантюре была и недостаточно благородна, то, во всяком случае, достаточна умна. Ах! если бы Жорж Мерри показался мне слабее меня, я, быть может, не колебался бы, но уберечь себя от Желтого Смеха для того, чтобы пасть под ударами гнусного детины, — об этом было отвратительно подумать даже в его отсутствие.

Я продолжал путь, рассуждая сам с собой о моем поведении. Запел петух — словно сторожевой рожок, созывающий команду, и вызвал солнце, лощеное и сверкающее, как бляха на портупее. Так как появление этого светила рассеяло туман, покрывавший, словно вата, долину, я мог бросить взгляд на пейзаж, расстилавшийся у моих ног, и отыскать опушку леса, где накануне я присутствовал при похищении молодой девушки и сделал ненужное приобретение в лице Принца Гамлета.

Зеленый луг, усеянный омегами с изящными зонтиками, не представил моим глазам ничего необычайного.

Дикие бараны и коровы паслись там, иногда без всякого повода начиная гоняться друг за другом, чтобы тотчас же заняться кой-чем другим.

Пытались развеситься неуклюжие, неповоротливые телята; бык, еще наполовину домашний, мычал, как скотина, требуя плуг и стрекало погонщика. Я не приходил в восторг от этого зрелища, несмотря на его бесплатность: я перевидал очень много интересного в прошлом и потому был равнодушен к сладким волнениям, которые природа дарит горожанам. Желание неведомого приковывало мое внимание к опушке рощи.

С трубкой в зубах, я поджидал появление беглеца Мушабёфа, Жоржа Мерри и молодой девушки в теннисной фуфайке.

Я оставался на моем посту добрых два часа, растянувшись на земле, подперев подбородок скрещенными руками; положив рядом револьвер, я искоса поглядывал на него с тайным желанием не иметь в нем нужды.

«Если бы мы могли все уладить по-хорошему, — думал

я, — но нет, эта проклятая девка все испортила! Мушабёф ее хочет, Жорж Мерри ее хочет...»

Мысль о третьем разбойнике вызвала у меня улыбку... в конце концов... могло случиться и так, что роль третьего разбойника выпадет на мою долю, что молодая красавица, убежав от двоих искателей ее красоты, упадет без чувств ко мне на руки, протянутые, как носилки.

Эта мысль вызвала во мне несколько горячих приливов гордости. Я вынул из кармана зеркало и, посмотревшись в него с важностью, решил более тщательно бриться ввиду предстоящих возможностей.

Выстрел из охотничьего ружья, грубый, как пощечина, оторвал меня от моих мыслей. У опушки леса в чистом воздухе поднимался маленький клубок белого дыма. Последовал второй выстрел — эхо повторило его — и я увидел человека с непокрытой головой, вышедшего из чащи и бросившегося бежать со всех ног по направлению к болоту. Я был изолирован на моем наблюдательном пункте в самом центре происходившего. С одной стороны, надо было бы спрыгнуть с высоты ста футов, чтобы попасть в долину, а с другой — сделать добрых два километра, чтобы спуститься с утеса. Раздался третий выстрел, и я увидел нападающего. Это был Жорж Мерри, — я узнал его по красной фуфайке.

Первый из двух субъектов, которого я не сразу узнал, бежал теперь к подножью утеса, другой его преследовал и, будучи проворней, нагоняя его.

— Мушабёф! — крикнул я.

Голос мой был слышен на большом расстоянии. Человек, так названный, поднял голову. Это был он. Из его груди вырвался крик отчаяния, он показал мне ружье, в котором больше не было патронов.

— Держись, я иду!

И я пустил пулью в Жоржа Мерри, который поднял голову и показал мне кулак, не замедляя, однако, бега.

Я бросился бежать по тропинке, спускающейся к равнине. Раз двадцать я едва не переломал себе кости; камни скользили под сапогами. Вынужденный обогнуть обрыв, так как тропинка делала петли, я потерял из виду Мушабёфа и Мер-

ри. Выстрел, смягченный заслоном скал, подбодрил меня, и, совершенно запыхавшись, я вылетел на лужайку. На расстоянии ста пятидесяти метров от меня Мушабёф поджидал Жоржа, держа огромный камень в руке. Он был в крови и, казалось, терял силы. Что касается Жоржа Мерри, то его толстая, красная физиономия, вся в поту, походила на кусок мяса, опущенного в кипяток. Он бросил револьвер и, с ножом в руках, преследовал свою жертву.

— Держись, Мушабёф!

Несчастный не повернулся, он заревел во весь голос:

— На помощь! на помощь!..

Одним прыжком Жорж настиг его и три или четыре раза вонзил ему нож в спину между лопатками.

Я стал стрелять, оглушая себя шумом выстрелов.

При третьем выстреле Жорж Мерри проделал пирэт и, сраженный, грохнулся во весь рост на куст репейника.

И теперь я был один посредине зеленого луга, а передо мной лежали два человека, распростертые в луже крови. Они больше не дышали, — и тот и другой были убиты.

Больше я ничего подробно не помню. Я отупел. Я смотрел без волнения, без горечи, без единой мысли в пустой голове на эти два трупа, из которых один представлял собой останки моего товарища по борьбе.

Позже, через час или два после произошедшей драмы — я не знаю точно, — я вернулся домой взять заступ и лопату, чтобы достойно похоронить Мушабёфа и Жоржа Мерри.

Дома я застал человека-обрубка, рыдающего со скуки и страха.

— Ах! Вы очень милы! Нечего сказать! Вот уже прошло пять часов, как я сижу здесь один. Само собой разумеется — вы понимаете дружбу по-своему! Тогда вы должны были бы оставить меня там, на лугу. Я, вероятно, умер бы... Или надо взять разбег, чтоб лучше прыгнуть. Ах, если бы я знал, что все примет такой оборот, я бы...

— Замолчите, Принц Гамлет, — сказал я. — Заткните вашу дурацкую глотку, — слышите? Я вовсе не расположен выслушивать ваши жалобы. Если вы произнесете еще одно слово, я подвешу вас на три дня на верхушку тополя, качае-

мого северным ветром.

Эта угроза успокоила Принца Гамлета. Я напоил, накормил его, затем, взвалив на плечи заступ и лопату, отправился в долину хоронить моих мертвцевов.

Вокруг трупов уже бродили любители падали. Солнце, светившее невыносимо, осушило кровь на ранах, покрыв их черным лаком, который местами уже потрескался. Траурная церемония была закончена в полчаса, а я еще долго оставался там, до вечера, сидел, обхватив голову руками, уперевшись локтями в колени. С наступлением сумерек, утром друга показалась мне непоправимой, и тотчас эгоистическое чувство одиночества вызвало у меня слезы. Прежде чем собрать свои инструменты, я всхлипнул раз семь или восемь, и по пути домой я принужден был часто вытирая пальцами глаза.

* * *

Посаженный против входной двери, Принц Гамлет изрыгал мрачным голосом жалобы и проклятия. Этот отъявленный ампутированный идиот считал себя вправе делать меня ответственным за все несчастья, которые его постигали. Когда он узнал, что я убил Жоржа Мерри, он покатился на пол, визжа, как одержимый.

Я никак не ожидал ничего подобного от такого типа, казалось бы, созданного природой специально для того, чтобы выказывать благодарность во всех случаях жизни, при всех обстоятельствах, во всякий час дня и ночи. Я должен был положить ему в рот кусок хлеба, напоить его и затем взять на руки, как кормилица младенца. Хоть не было свидетелей, которые могли бы вдоволь посмеяться над нами, это животное делало меня смешным в моих собственных глазах.

И, несмотря на этот гнет, я не мог решиться покинуть несчастного, во-первых, из чувства человеколюбия, а во-вторых, — из эгоизма. Все же, несмотря ни на что, это было

подобие человека, я мог с ним поговорить и, при случае, побраниться.

У меня была такая боязнь одиночества, что иногда я даже ласкал его и играл с ним в «Занзибар» — его любимую игру. Он брал игральные кости прямо в рот и выплевывал их на стол. Это было отвратительно, но практически, и затем, то ли еще мне пришлось видеть.

После смерти Мушабёфа я возненавидел и нашу хижину, и пещеру, где он жил вместе со мной. Мной овладела бесконечная усталость. Я пролеживал целые часы и дни, вытянувшись на спине, слушая, как, сидя рядом со мной, Принц Гамлет насвистывает военные марши. Иногда он подражал дрозду, соловью, меланхоличной жабе, которая пытается прополоскать свою глотку, чтобы удостовериться, не закупорена ли она.

Вместо того, чтобы толстеть от этого праздного образа жизни, я невероятно худел, так как, очевидно, вмешал в себя всю желчь всех чертей.

Принц Гамлет же, наоборот, расцветал с каждым днем самым наглым образом; его щеки, некогда с синеватым отливом, окрасились в свежий, розовый тон — совсем как у молодой молочницы.

Иной раз, после трапезы, его физиономия, пунцовавшая, как ягодицы новорожденного младенца, расплывалась в блаженном самодовольстве. В такие дни я с редким наслаждением дал бы ему пощечину, например, но, будучи одарен некоторой долей критического ума, я благоразумно успокаивался, несколько изменяя свое чувство в лучшую сторону.

Так спокойно прошло жаркое и влажное лето, в течение которого я был в полной прострации. Осень внесла нотку меланхолии в мое и без того крайне безрадостное настроение. Деревья обнажились, вечера стали длиннее; меня вдруг охватило необычайное желание бежать отсюда, бежать без оглядки, в поиски за каким-нибудь приключением, в надежде встретить где-нибудь в лесу мужчин и женщин, тоже бежавших от Желтого Смеха.

Встреча с Принцем Гамлетом, с Жоржем Мерри и молодой девушкой укрепляла во мне эту надежду. В одну из бес-

сонных ночей я решил отправиться утром же, оставив калеку на произвол судьбы.

Мысль эта, понятно, была не очень благородна, но во всяком случае соблазнительнее, нежели перспектива пребывания в обществе человека-обрубка.

Утром я сделал все приготовления: взял некоторое количество провизии, револьвер, ружье, патроны.

Принц Гамлет спал еще, но шум моих шагов разбудил его, он открыл глаза, посмотрел на меня, усмехаясь — и с этого момента я был в его власти.

— Итак, покидают ненужный обрубок? — сказал он с горечью, — бегут потихоньку! Свинья! Я всегда знал, что ты свинья... Жорж этого не сделал бы...

Я стоял, не зная, что ответить, потрясенный, как ребенок, засунувший палец в варенье и на месте преступления пойманный матерью.

— Пить! — приказал Принц Гамлет.

Я послушался его машинально; он пил жадно, хлюпая губами.

— А! Сударь меня покидает, — начал он с новыми силами... — Сударь может похвастаться — он отменный негодяй!

— Довольно, Принц Гамлет. К сожалению, я не могу сказать всего, что думаю о вас, сейчас не время. Мы уходим отсюда, и я беру вас о собой.

— А зачем же уходить отсюда? — завизжало это несносное создание. — Мне и здесь неплохо, я вовсе не желаю таскаться по этим зарослям. Вот еще выдумка! Честное слово, вас хватил солнечный удар! Куда же вы хотите идти?

Я не ответил ему, и, пока он возился в своей корзине, служившей ему постелью, я отыскивал что-нибудь подходящее, что могло бы служить для переноски Принца за спиной, чтобы мои руки оставались свободны.

Ничего не найдя подходящего, я решил, что водрузжу Принца за спиной, просто привязав его, как солдатский мешок. Не обращая ни малейшего внимания на его бурные протесты, я обвязал его на манер помочей двумя кожаными ремнями и водрузил на плечи. Чтобы пополнить груз, я привязал ему на поясницу горшок, а на голову надел ему

кастрюльку. Издали, со спины, я должен был походить на солдата-пехотинца в полном походном снаряжении, со складной палаткой на спине.

Мы отправились на заре. Настроение Принца Гамлета, обычно довольно непостоянное, совершенно изменилось. Вполне довольный своим положением, он стал напевать старинную песенку, оставленную ему в наследство одним из его предков, который некогда затмил Картуша и Баланы в одном из Куртильских кабачков:

*J'ai du chenu pivoi sans lance
Et du larton savonné,
Une lourde, une tournante,
Lonfa malura dondaine.
Un tremblant pour roupiller,
Lonfa malura dondé.*

Мотив был веселый и очень ритмичный. Я шагал в такт, стуча по земле подбитыми железом сапогами, с ружьем через плечо, крутя палкой.

В первый день мы прошли через какой-то покинутый город, не то Пон-Одемер, не то Пон-Л'Евек, точно не помню.

Улицы в нем заросли терновыми кустами, сорными травами; при виде нас испуганно разбежались несколько диких собак, шерсть дыбом, с поджатыми хвостами, с глазами, напитыми кровью.

Выйдя из города, мы пошли вдоль речки, затем вышли на окружную дорогу, которая была еще в прекрасном состоянии. В полях и даже на самой дороге встречались скелеты, совершенно чистые, как в анатомическом музее. В этом, по-пятно, не было ничего привлекательного, но это совсем не казалось ужасным. Однако, когда мы приблизились к маленькому пригороду, целиком поросшему терновыми кустами, акациями, крапивой и прочими сорными травами, количество скелетов так возросло, что я решил, уступив мольбам дрожавшего от страха Принца Гамлета, свернуть с дороги и пойти лесом.

Последний служил защитой от угрюмых хищников, ко-

торые встречались около городов. Так брели мы некогда с Мушабёфом. Начиная от самого Парижа и до Маре Вернье, мы шли лесами. Пришлось еще раз попробовать испытанное средство. Взяв вправо, я дошел до оголенных деревьев, серо-лиловая гуща которых служила нам убежищем, где ничто не пугало взора.

Что сказать об этой ходьбе в лесу? Смертельная тоска, усталость, споры с Принцем Гамлетом, который однажды утром отказался нести кастрюльку на голове; холодные ночи, когда мы просыпались совершенно окоченевшие, стуча зубами под одеялами.

Раз ночью на нас напали волки и дикие собаки; я обратил их в бегство выстрелами из ружья и до рассвета продолжал сторожить, напрягая слух и зрение, изводимый воплями человека-обрубка, который стонал, как рожающая женщина.

Однажды, рано утром, мы проходили какую-то деревню, и вдруг местность показалась мне очень знакомой. Я находился в полуудремотном состоянии, вследствие чего не сделал из этого выводов, которые должен был бы сделать. Я шел своей дорогой, время от времени подсаживая моего спутника, который беспрестанно сползал по спине на ослабевших ремнях.

Вдруг некоторые подробности местности, которая нас окружала, показались мне столь знакомы, что я не мог не восхлиknуть с досадой:

— Черт возьми, чтоб леший тебя побрал!..

Передо мной насмешливо расстелилась та самая лужайка, на которой погибли Мушабёф и Мерри.

В ярости я даже расстегнул ремни... иными словами, Принц Гамлет покатился на землю, испуская громкие вопли:

— Проклятый! Вы с ума сошли! Я знал это отлично, что вы только и ждете моей смерти... убийца, бандит!..

Я не слушал его, всецело занятый своим гневом — я рвал на себе волосы, шипел от злости, топча в ярости сапогами землю.

Я широко раскрыл глаза — нет, сомнения быть не могло: передо мной была та же самая лужайка, слева — нача-

ло Маре Вернье, справа — высоко — линия обрыва; я даже рассмотрел нашу старую хижину из деревянных срубов, которую надеялся никогда больше не увидеть даже во сне.

Сердце подступило прямо к горлу. Я катался по земле, моля Бога в выражениях, которых я не находил даже во времена исповеди: «Боже! О, Боже! — стонал я. — Так и есть! Я это вижу, я чувствую, я избранник, Ты призываешь меня к себе. Счастливы блаженные духом, ибо им принадлежит царство небесное. В твоих чрезмерных заботах Ты сделал из меня идиота, кретина, который вот уже в течение целого месяца вертится около источника своей злобы. Я уже совершенно созрел, чтобы войти бесплатно в Твой клуб! Простота, которой Ты пожелал наградить меня, служит мне богатством. Я понимаю! Я понимаю. Отныне я буду жить около Тебя, согретый, сытый, одетый во все белое, как ангелы, как эти священные ангелы... Нет, Господи! Никогда еще Ты не мог встретить среди всех этих несчастных, добрых простаков, которых Ты принимаешь к себе, такого отъявленного глупца, как я...»

Принц Гамлет выслушивал все эти сумасбродства с выпученными глазами, с холодным выражением. Я видел по его глазам, что он хотел бы протянуть мне руки. Вдруг, собразив, что этот человек заменяет мне годы в чистилище, я снова водрузил его на плечи и, шатаясь, как пьяный, дрожа, как в лихорадке, пустился в путь по той самой дороге, по которой некогда столько раз проходил, увы, с Мушабёфом!

Вскоре я смог освежить мой разгоряченный лоб ледяной водой из маленького источника, у которого мы останавливались взять воды, и вскоре уже я достиг последнего этапа моего мученического пути — вершины обрыва, где свирепо дул ветер, который, казалось, разъяренно набрасывался на нашу бедную хижину, сохранившуюся не хуже знаменитого обелиска из Луксора.

Когда моя нога ступила на землю ненавистной берлоги, я не выдержал: вся моя энергия испарилась, как клуб дыма, и, лишившись чувств, я упал, увлекая в своем падении и моего несчастного companьона.

— Ну, Принц Гамлет, еще один глоток... как вы теперь себя чувствуете?

— О! Пора бы меня об этом спросить. Уже два раза вы меня так роняете... Будьте внимательны... я терпелив, но, предупреждаю вас, я доведен до крайности.

— Не сердитесь, Принц Гамлет, вот сахар и вино, пейте же...

Несчастный не ел ничего в течение двух суток, пока продолжалось мое обморочное состояние. Возвратясь к жизни, я нашел его полуумирающим от голода и холода. Пожалуй, целый час я потратил на борьбу с его гневом. Наконец, мне удалось всунуть ему в рот солдатский сухарь, смоченный в вине.

Несколько подкрепившись, Принц Гамлет снова обрел силы и, в знак благодарности, начал осыпать меня целым градом всевозможных ругательств на семи или восьми языках.

Я был слишком слаб и расстроен, чтобы отвечать ему. Изливши весь свой гнев, он уснул, а я кое-как выполз наружу, весь разбитый, сгорбленный, кашляя, как простудившаяся кошка.

По счастью — я нашел в пещере дрова, сухие, приготовленные еще перед моим уходом, развел огонь и растянулся у пламени, поджаривая живот, спину, ноги, руки; я весь дрожал от блаженства и вынужден был с некоторым сочувствием отнести к воспоминаниям о муках Жанны д'Арк.

Под впечатлением тепла, от которого оттаяли моя душа и тело, ужас моего положения представился мне в новых красках. Я тотчас подумал о способе добывать себе пищу, не слишком утруждая себя; охота показалась мне несocomестимой с общим расстройством моего здоровья.

Снаружи, как бы нарочно, чтобы толкнуть меня на самоубийство, ветер, дождь, град и мокрый снег налетали шкварами на хижину — каждую минуту я ждал какую-то конечную катастрофу и начал даже желать ее.

«Я избегнул смерти от Желтого Смеха, — с горечью думал я, — а теперь я должен лопнуть от тоски, словно крыса в цинковой ванне».

Тогда я начал завидовать тысячам и тысячам трупов, которые встречались со времени великой эпидемии, я завидовал жестокой смерти Мушабёфа, Жоржа Мерри, а мысль о том, что я никогда больше не увижу девушку на лужайке, вызвала у меня горячие слезы, которые медленно стекали вдоль моего носа.

В течение трех дней я не выходил с Принцем Гамлетом из хижины, да и немыслимо было бы высунуться наружу; ярость сорвавшейся с цепи природы вынуждала нас сидеть дома. Наша провизия — солдатские сухари, варенье, шоколад и ром — уже подходила к концу. Наконец, на четвертый день дождь прекратился, ветер утих и подул в другом направлении. Настал благоприятный момент взять ружье и спуститься в долину поохотиться на дикого барана.

Я снял с крюка мой «винчестер» и отворил дверь, собираясь выйти.

— Куда вы? — спросил человек-обрубок.

— Попробую убить барана.

— Я пойду с вами.

— Да нет же, вы мне будете только мешать, — мне необходима свобода движений.

— А я, что же вы думаете, я могу оставаться здесь и гнить в этом чулане? Я всегда знал, что вы негодяй, но все же не думал, что вы так отвратительны.

— Довольно! Довольно! Довольно, Принц Гамлет, клянусь всем, чем хотите, я беру вас с собой, решено, и пусть Все-могущий сделает так, чтобы дикие бараны пожрали вас, как цветок одуванчика!

С Принцем Гамлетом за спиной я отправился вдоль обрыва, чтобы попасть на тропинку, ведущую к долине Верные. Я чувствовал себя бесконечно усталым и настолько слабым, что, едва пройдя какую-нибудь сотню метров, вынужден был остановиться, развязать ремни на Принце Гамлете и прислонить его к скале. Усевшись, положив голову на колени и обхватив руками ноги, я вздохнул так глубоко, что

вздох мой пустил в холодный воздух длинную струйку пара, почти такого же густого, как дым от папиросы.

В голове у меня звенело; собраться с мыслями мне было так же трудно, как собрать пчел в открытую корзину. При созерцании мирной, тихой панорамы, расстилавшейся у моих ног, уныние мое еще больше увеличилось.

Повсюду царила дикая природа. Не оставалось ни малейшего признака человеческого господства по крайней мере нигде вокруг, куда достигал взгляд. Поля, поросшие терновником, сорными травами, чередовались с полями, сплошь усеянными гигантскими репейниками. И над всем этим тяготело унынье декабряского дня. Это было так же прискорбно, как нищета зимой, и я воображал себя в одиночестве, в огромной комнате, без огня и без лампы. Без сомнения, в этом пейзаже не хватало лампы. Вероятно, это впечатление вызывалось отсутствием людей. Не знаю. Но, по крайней мере, я этим объяснял себе грусть, которая поглощала меня всего, как губка впитывает в себя воду.

Я не мог удержаться, чтобы не захныкать и не сказать громко:

— Что с нами будет? Что же делать?..

Тогда Принц Гамлет, до сих пор созерцающий меня в полной безмятежности, откашлялся, чтобы прочистить свой прекрасный голос, и ответил на мой вопрос:

— Что же делать?

Я повернул голову в его сторону, и глаза мои следили неустанно за его глазами.

— Что делать? — произнес он напыщенно. — А вот! — Он указал кругообразным движением головы на горизонт, на поля под паром, на леса и холмы, на болота и меловые утесы.

— А вот! Это очень просто, — начал он снова, — нужно копать землю, перевернуть эту кормилицу-землю; посеять доброе семя, жать рожь, золотистую рожь, которая не замедлит пустить ростки. Будем пахать землю, сеять хлеб, восстановим погнившие постройки — вот что надо делать.

Некоторое время я сидел молча, не будучи в силах ответить, ибо эта гениальная идея буквально перевернула мои

мозги. Бережно, с предосторожностью матери, берущей своего ребенка, я схватил человека-обрубка за шиворот и, не обращая внимания на его крики, бросил его изо всех сил в бездну, разверзшуюся у наших ног.

Я долго смотрел, как он кувыркался в воздухе, затем полетел прямо, решительно и уткнулся головой в зловонную грязь болота.

Так погиб Принц Гамлет — жертва своих дурацких лекций и своей неуместной иронии. Еще по сей день я сожалею о своем жестоком поступке. Да, по совести, я сожалею о нем, но, без сомнения, я пожалел бы о нем еще больше, если бы из-за этого поступка был вынужден закончить свое существование авантюриста на сырой тюремной соломе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вся эта история, оправданием которой служит, несильно смешное, сомнение в ее правдивости, допускает заключение. Вот оно, в своей пошлой неприкрашенности, освобожденное от всякой искусственности, благодаря чему фраза становится похожей на роскошно одетых женщин, которые, освобожденные от своих нарядов, очень часто производят крайне жалкое впечатление.

После смерти Принца Гамлета я окончательно покинул обрыв и на этот раз не сбился с пути.

Подходя к Руану, я встретил толпу мужчин и женщин, которые, завидев меня, стали испускать радостные крики. Они увлекли меня к маленькому селению, наполовину восстановленному, и мы тотчас отправились к торговцу винами, который один из первых обосновался там. Они сообщили мне и доказали надлежащим образом, что во всей этой катастрофе погибло еще не все человечество.

В Париже все шло к лучшему. Выбран президент республики. Все оставшиеся в живых, отдав должное последствиям того кровопускания, что постигло всю вселенную — сумели недурно устроиться, заняв места в табачных предприятиях, сборщиками податей и т. д. Все мужское население Парижа зависело от государства: одни в качестве чиновников, министров, другие как рабочие транспорта. Больше уж не было таких случаев, когда десять тысяч человек жаждали запаять одно и то же место. Оставшиеся в живых после этого тяжелого испытания признавали все же, что нечто изменилось в этом лучшем из миров.

Когда я сам приехал в Париж, управление транспортом там прокладывало уже новые пути, и уже поговаривали о проекте продления срока военной службы до семи лет, чтобы восполнить недостаток в народонаселении.

После двух лет нищеты и скитаний я почувствовал, что ожидаю. Между тем, у меня все же сохранились горестные воспоминания о моем прошлом. Но все забывается. Я так

никогда и не увидел вновь молодую девушку, из-за которой погиб Мушабеф, я никогда ее не увидел вновь, но зато я узнал других, и читатели первыми, я полагаю, простят мне, что я не воспользуюсь случаем рассказать подробно, почему и как я наверстал, с моими слабыми силами, время, потерянное там, на высотах, господствующих над Сеной, у синеватого, тусклого, как оловянное зеркало, лимана.

Роман «Желтый смех» был впервые опубликован с продолжениями в художественной газете *Comedia* в 1913 г.; первое книжное издание (Paris: Albert Méricant) вышло в 1914 г. незадолго до начала Первой мировой войны.

Русский перевод публикуется по первоизданию (М.: Круг, 1926) с исправлением очевидных опечаток. Орфография и пунктуация приближены к современным нормам; исправлены некоторые устаревшие обороты.

Рисунок Г. Бофа на обложке взят с обложки первого французского книжного издания.

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.